

[Polaris]

А. ОССЕНДОВСКИЙ
ПЕРУНОВО УРОЧИЩЕ



ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
ТОМ III

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCXLV



Salamandra P.V.V.

**Антоний
ОССЕНДОВСКИЙ**

ПЕРУНОВО УРОЧИЩЕ

Избранные сочинения
Том III

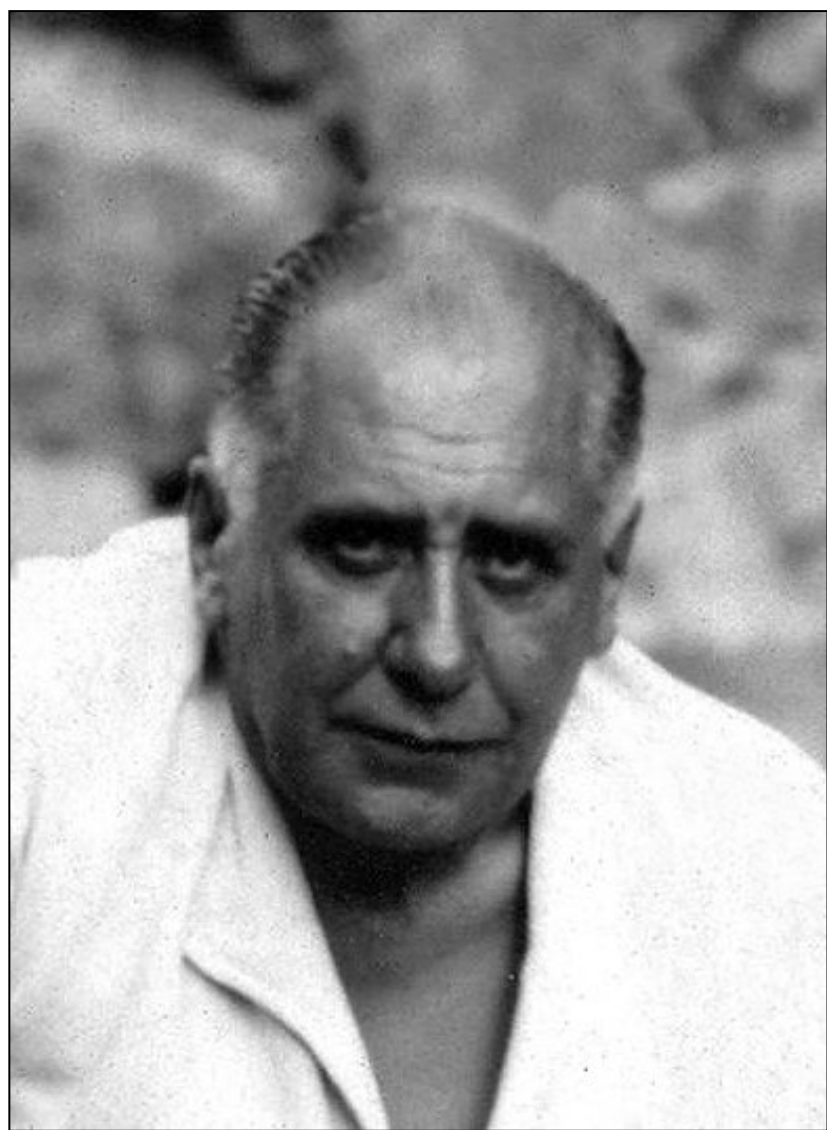
Salamandra P.V.V.

Оссендовский А. Ф.

Перуново урочище. Сост., подг. текста и прим. М. Фоменко и А. Шермана (Избранные сочинения. Том III). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 252 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXLV).

Настоящее издание является первым на русском языке собранием избранных сочинений польско-русского писателя, ученого, путешественника и авантюриста Антония Фердинанда Оссендовского (1876-1945).

В третий том собрания, «Перуново урочище», вошли остро сюжетные рассказы о быте золотых приисков и жизни на Дальнем Востоке, рассказы из цикла «Старый Петербург» и другие рассказы и очерки из раритетных периодических изданий.



ПЕРУНОВО УРОЧИЩЕ

НА РЕЧКЕ НЫГРИ

(Рассказ из приисковой жизни)

— У-у! Проклятые, одолели!..

Бродяжка проворчал эти слова и отмахнулся, словно мух гнал.

И не отогнал. Прилетели, зажужжали опять, — совсем одолела.

Все пропало перед глазами, словно и не было никогда речки Ныгри, и не было увала с белыми, блестящими жилками твердого камня, и словно не Сибирь это, не Лена бежит там, за тайгой.

Да что Лена, Ныгри и увал с белым камнем?!

Сам уж он не Петра Секач, а другой, совсем не похожий на Секача, человек, городской, почтенный.

А эти проклятые жужжат и свистят крутом, что «гнус»*, мошкара таежная, черная, лютая...

Мысли...

В городе вот Секач — бродяжка...

Народу видимо-невидимо. Черно крутом. Гомон, говор, смех. Пыль стоит в темнеющем воздухе. Высоко на небе загораются звезды, еще бледные, еще трепетно-пугливые.

А небо белесое, какое-то тусклое и близкое!

Ровно пологом тяжелым, безбрежным опустилось оно, небо-то, на землю, уже тонущую в густых тенях, и на черное море людей.

Вокруг большого пруда тянется длинная вереница повозок, будто змея с горящими глазами ползет эта вереница и огибает пруд. В воде, как в зеркале, скользят, плывут черные тени коней и повозок. И чудится тему, другому человеку, не бродяжке, что из воды выглянули, из неведомой глубины вынырнули страшные годы, все в черном или в гнилой тине, и копошатся, и извиваются, будто те видения обманные, что грезятся в тревожные ночи, когда сон тяжелый случается, когда грешные думы душу изморят вконец...

В повозках богатые господа, их барыни в шляпках с цветами и яркими лентами, детеныши малые в белом, с ножками голыми, худенькие, заморенные...

* Гнус — комары, мухи, слепни, мошки и т. п. (Здесь и далее прим. авт.).

И все они копошатся там, в водной глади, из тины, из ила повылезли, маячат, шевелятся, грозные и порой страшные...

И вдруг злобно и обидно на сердце защемило. Зависть одолела, и недоуменно оглянулся тот, другой, которого вспомнил здесь на Ныгри и, как своего, как самого себя, учуял Секач-бродяжка.

— Почему и я не богатый? Разве я не смогу в такой повозке развалиться с барыней-сударыней, с детенышами малыши?!..

И так защемила зависть, так застонала, заныла в сердце, что впервые тогда Секач зачал «стрелять».

И легко ему было в ту пору часы, цепки, кошельки и всякое добро, дребедень золотую и белую из карманов у господ важных и у их барынь нарядных из мешков удить.

Потому что все вверх головы закинули и чего-то ждали.

Вот-вот с кеба в землю вдарится!..

И вдарилось...

Да только не с неба в землю, а с земли к небесам взвилось и понеслось.

Будто ножом из золота прорезало небо и звезды, и след оставило огненный.

А потом сверху вдруг рассыпалось шарами, что радуга: и зеленым, красным и синим огнем загорелось и, когда тухнуть пора пришла, разлетелось в шары, в огоньки малые и юркие, разорвалось с треском, шумом и свистом, будто...

Ну, как было тогда, когда из Александровской «кичи» вся артель, без мала, через тын полетела, а стражники из шпайеров и свечей* пальбу по ним открыли... Весело было... Потеха, шум, треск и крики.

— У-у! Проклятые... — опять отмахнулся бродяжка и все вспомнил, все понял.

И Лена, и Ныгри, и тайга — все от ней, от той жгучей, злой зависти пошло!..

* Кича — тюрьма, шпайер — револьвер и свеча — ружье.

Все от ней, вся его жизнь зыбкая, гнилая, как туман над болотами, беспросветная доля каторжная!..

Опять махнул рукой.

Чего закручинился? О чем думы налетели?

Ведь приобык, сжился, ко всему, поди, пригляделся? Все давно втерпеж стало!..

Чего уж?!..

И, не думая больше о том, другом Секаче, которого величали, как всех там, в большом городе, бродяжка над огоньком котелок на вилку повесил и заслушался, как он шипел, загуторил, заворчал.

Оглянулся на красный от огня скат увала, увидел, как шарахнулась по нему его тень, большая и черная, скользнул взглядом по глубокой яме, где он все лето прокопался, ухмыльнулся в густую спутавшуюся бороду и полез было в щель возле ямы, куда золото схоронил от лихого человека, на случай, ежели на него невзначай набредут, да испугался, посмотрел кругом, послушал и прочь пошел к костру.

Вспомнилось Секачу, что нынче, когда он землю копал и в ней золотины искал и самородков, почудились ему чьи-то шаги.

Кто-то пришел крадучись, тихо, шорохно. Пронесся, просигнул скорее, чем прошел.

Секач обыскал тогда весь лужок за увалом и кусты таежные, сплошь подошедшие к хребту, да так никого и не нашел.

Померещилось ему тогда, видно, или тот притаился, схоронившись в чаще. Вишь, она какая густая и путаная!

Хоть тысячу человек спрячь — не найти!

И теперь, под рокот кипящей воды в котелке, Секач долго слушал, как волк, подняв кверху голову и скосив сощуренные, зоркие глаза.

Где-то в чаще призывно ревел изюбрь, протяжно и истомно, а тайга кидала его голос от дерева к дереву, от камня к камню и несла дальше и дальше.

Сипела сова и тихо шуршала мягкими крыльями над увалом, гоняясь за мошкаркой и мотыльками, белыми и жирными, ровно птички. В подлеске нет-нет и зашелестит су-

хим листом, завозится заяц или куница пробежит, ловя мышей и кротов.

Все — Божья тварь, а чтоб человек подал голос, того Секач не слышал.

И он опять подошел к щели, запустил в нее руку, вытащил холщовый мешок, грязный, обмотанный веревкой.

Принес поближе, к огню, развязал низ мешка, на камень высыпал добрую пригоршню самородков. Желтые. Блестят. Смешные.

Иные — что змеи, иные — что деревья, есть такие, как люди или звери, а есть и такие, как тяжелые, красные капли...

Как капли крови, прилипшей к холодному железу.

Доброе золотишко! Самое червонное! Дорого за него в городу дадут Секачу!

Знает он и ухмыляется; в мешок скинул самороды и в щель загнал его поглубже.

Да не видел того бродяжка, что другой человек из кустов голову высунул вровень с землей и глядел долго, глаз не спуская.

Видал тог человек и котелок, и Секача, и яму, и мешок с золотыми каплями, и заветную щель в увале. А потом, когда бродяжка начал топором громыхать, от сухого пня лучину колоть, зашел с другой стороны, громко позвал:

— О-о-о! Кто у огня?..

Секач дрогнул. Вскочил, за топор покрепче взялся, а потом подумал, что, пожалуй, и ладно с прохожим ночь скоротать у костра, хоть словом перекинуться. Одичал ведь здесь один, на Ныгри, с золотом.

— Подходи, не бойсь! — крикнул Секач и стал поджигать.

Тог долго колесил по тайге, перекликался с бродяжкой, а потом вышел прямо к увалу, маленький, непоседливый и юркий.

Секач общупал его глазами, примерил всего и сразу приметил мешок пузатый за спиной и спросил:

— Из спиртоносов будешь?

— Всяк, чем может, промышляет, — бросил тот в ответ и, снявши со спины мешок, опустил его на землю бережно и любовно.

— С угощением ходишь по тайге, — заметил Секач. — И не боязно? Ведь урядник пристрелит, да и приисковая кобыла спуска не даст, ежели учует, что гомыру* тащишь на себе.

— Ежели пофартит — все пронесет! Давеча на Хабатовских приисках десять бутылок сбыл. Проведал урядник, стражников в погоню отрядил. До ночи гнались, а как темь пала, я в кусточки шмыгнул да и залег. Под утресь уже видел, как всадники неудачливые домой ворочались... Хе-хе-хе!

Спиртонос засмеялся, ровно заблеял...

— Обрадовался я крещеному, живому человеку по ночи, — говорил потом спиртонос, откупоривая большую баклагу спирта, а сам глазами бегал по лицу Секача, и по забою, и по зардевшимся от огня склонам увала.

Долго молчал Секач, устал молчать, не видя людей, и разговорился, хлебая гомыру, парень, всю душу выложил, все порассказал, как и что было. И про свой фарт в увале, и про мешок с самородками, и про то, что уйдет он нынче осенью, а после половодья опять беспрременно воротится и тут же «волынку фартливую»** заведет в логу.

— А не лучше ли, — заговорил спиртонос, — продать открытое золото богатым промышленникам? Вот тут, почи-тай, рядом компания Соковых и Кромешинных на пустых местах сколько лет бьется и никакого фарту не имеет. Не дается золото им — и шабаш!

И начал спиртонос расписывать житье привольное Секача, когда он продаст открытый им ложок и увал с богатым золотом промышленникам и когда от них миллион чистоганом выручит.

И в городе-то заживет Секач, и коней своих держать сгнет, и семьей-домом обзаведется, гостей именитых хлебом-

* Кобылка — отребье человечества; гомыра — спирт.

** Доходное предприятие.

солью кормить будет.

Говорит спиртонос голосом ровным, а Секачу все чудится, что не он, а кто-то другой, совсем чужой, говорит и смеется, ровно блеет.

Даже раз-другой бродяжка опаско оглянулся, да не приметил другого, чужого человека. Спиртонос же хихикает и гомыры подливает. Секач знает, что говорит он сам много и громко, знает, что руками он размахивает и встать силится на ноги, да только трудно это, — гомыра разморила, с ног, что обухом, валит, и опять сидит бродяжка и слушает, как булькает в баклаге, как бросает слова мелким, ровным говорком спиртонос и как он блеет тонким, чужим смехом.

А потом еще увидел Секач сквозь тусклый туман, что спиртонос поднялся и топором размахнулся, увидел, как что-то закопошилось и как... тогда метнулось в темноте и даже удивился Секач.

Опять вспомнился ему темный пруд, черное море людей кругом и копошащиеся и выглядывающие из пучины и тины черные, злые чудовища, страшные и неведомые.

Вспомнилась и опять шелохнулась горячая, как огонь, зависть и обожгла всего, полоснула по сердцу, и даже схватился Секач за грудь от боли и крикнуть хотел, да не мог.

Поперхнулся и захлебнулся чем-то липким и горячим, что само текло в горло и путало все мысли и желания Секача.

«Гомыра? Не гомыра?» — неслись обрывки мыслей.

И все больнее и больнее ныло в груди и все труднее становилось дышать.

Секач открыл глаза и увидел черное чудовище, вскинувшееся вдруг перед ним и, когда озарил его потухающий костер и сделал его красным, бродяжка понял, что перед ним спиртонос и что замахнулся он огненным блестящим топором.

Потом услышал Секач блеющий, чужой смех, глухой хряск и почувствовал боль, злую и острую, в груди, в голове, опять в груди — и вдруг, сорвавшись, он полетел туда, в пучину пруда, где возились призраки, неясные и тревожащие, убегавшие все глубже и дальше от людей, кричащих

и смеющихся, где тогда впервые почувал Секач ненависть и зависть и откуда попал он на Лену, на дикую Ныгри и в ложок с увалом, где богатство, золото и куда забрел этот маячащий перед ним с топором юркий спиртонос, бросающий слова, как мелкие камни, и блеющий смехом невидимого чужого человека...

БЫК

Рассказ из приисковой жизни

Последним вернулся сегодня в казарму Бык.

Новый разрез по целику вели и ему не хотелось уходить. Он знал, что давно на этих местах кто-то копал ямы-шурфы и неглубоко, тут же под мягкой землей, находил большие самородки, а потому и Бык до поздней ночи рыл землю по проведенной инженером метке и, когда последний нарядчик уже собрался уходить и только для вида осматривал фонарь, недовольно оглядываясь на грузную, как из камня высеченную фигуру Быка, тот все еще копал и бил землю острой лопатой и киркой.

Пока шли еще торфа, и ни золотины, ни «жука» никто из приисковой артели не нашел.

— Пойдешь ты, што ли? — нетерпеливым голосом бросил ему наконец нарядчик. — Ишь ты! Здоров работать! Недаром — Бык...

Бык хотел ему было ответить, но в это время кайла ударилась во что-то твердое. Он нащупал в мягкой земле твердый камень. Обмыв его в стоящей рядом бочке, Бык поднес к фонарю и осмотрел камень.

Маленький, жирно блестящий белый обломок прорезывался тонкой, зеленоватой жилкой, расплывающейся местами в пятнышки. Бык улыбнулся. Он понял, что начинается россыпь, и что зеленые жилка и пятнышки это уже золото; бедное, но верное золото.

Грузный человек спрятал камень в карман рваных штанов и со спокойной



улыбкой выпрямился, решив, что завтра, встав до артели, он первым будет на своем месте и отсюда поведет свой «урок».

— Идем, нарядчик, что ли?! — сказал он, уже на ходу скидывая на широкие плечи армяк.

В казарме, когда вошел Бык, было темно. Почти все спали, и только в одном конце на нарах светился огонь и слышался громкий разговор, прерываемый пьяным смехом.

Бык удивился, так как знал, что в такое горячее время водка особенно строго преследовалась на приiske.

Переодевшись и напившись чая, Бык направился в шумный угол, где сын утонувшего в прошлом году артельного старосты, Сенька Косой, встретил его раскатистым смехом и веселым криком.

— А! Чимпион! привет с кисточкой! Извольте к нашему шалашу пристать!

Бык не любил Сеньку, задирчивого, наглого малого из фабричных, труса и доносчика, постоянно трущегося около приисковой конторы. Однако, Бык все время присматривал за парнем, так как был дружен с его отцом и считал себя обязанным, насколько мог, заменить Сеньке и его сестре Варе отца.

— Ты чего бражничаешь? — строго глядя на Сеньку, сказал Бык. — Гляди, кабы с прииска за «гомыру» да и совсем не согнали! Когда разрез ведут — не полагается это.

— Не бойсь! — бойко ответил парень. — Мне нонче все можно...

Видя недоумение на лице Быка, Сенька обвел лукавым взглядом своих собеседников и со смехом сказал:

— Я намедни для главноуправляющего богатое золото нашел. Сегодня попозднее, когда темь совсем падет, пойду отдавать из полы в полу.

— Н-ну?! — обрадовался Бык. — Говори, Сеня, как так?!

Но парень, громко смеясь, протянул ему чарку и сказал:

— Знай, пей, чимпион!

Чарка ходила по рукам, булькал спирт в большой баклаге, и в углу на нарах росло веселье.

С щелканьем падали на нары «святцы», засаленные карты, шли разговоры, и старательно пели глухими, охрипшими от сырости и водки голосами.

Вспоминали, как лет двадцать тому назад тут же рядом Званцовы и Бахрушины копали и мыли золото, и как оно потом вдруг ушло куда-то, как трудно жилось последние годы на прииске, как владельцы то хотели их бросить, то продать, и как вдруг нашлись англичане, купившие эту, казалось, уже истощенную землю и нашедшие новые россыпи.

— Заживем теперь по-старому! — крикнул старатель Григорий Крошкин и залпом выпил большой стакан разбавленного спирта. — Шабаш — прошло лихое время!

— Ну, расскажи, Бык, как ты-то жил в чимпионах, — предложил вдруг Сенька и, нагибаясь к нему, налил полный стакан спирта. — Расскажи-и!

И старик начал свой рассказ. Он был атлетом и ворочал большие тяжести с легкостью паровой машины, удивляя неприхотливую публику провинциальных цирков.

— А потом какой-то немец приехал в Козельск и увидел мою «работу», — рассказывал Бык. — Приходит ко мне в цирк и говорит: «У вас гриф борца». Я тогда и не знал ничего о грифе. А это значит, пальцы и ладонь очень крепкие и твердые. У меня это и теперь осталось.

Сказав это, Бык пошарил в кармане и, вытащив медный пятак, упер его в ладонь и, нажав пальцами другой руки, рванул. Монета сначала погнулась, а потом разорвалась, как кусок толстой кожи.

Бык презрительно отшвырнул куски сломанной монеты и продолжал:

— И стал это он меня учить, как бороться надо. Потом возить начал по заграничным городам и, наконец, в Париж привез. «Борись, — говорит, — здесь. Ежели всех положишь, первым борцом будешь на свете. Богатым, знатным станешь, газеты писать о тебе будут, портреты твои печатать. Женщины, самые что ни на есть красивые, полюбят тебя, перстни с алмазами дорогими дарить будут». И начал он мне рассказывать о житье тех, кто был победителем в Париже, и про Жирара де Монро, и про черного Дам-



бука. Ну, понятно, молод, глуп я был. Голова кругом пошла, и уж так я старался в Париже, что и не упомнить, сколько я там повредил спины, руки и шеи, но получил золотой пояс и звание чемпиона мира.

— И что же, был богатым и знатным? — с любопытством вытягивая голову, спросил юркий цыган Малек.

— Был... — неохотно протянул Бык и опрокинул стакан спирта в рот.

— Был... — повторил он раздумчиво и грустно. — Все было, как немец мой, Майер, говорил. Ни в чем не обманул меня немец.

— Ну! ну! — понукали рассказчика слушатели. — Говори уж — больно занятно все рассказываешь!

— Был и дом у меня в Москве и в банке тысяч сорок лежало, — угрюмо глядя на огарок свечки, говорил Бык, — когда в Москву явился борец, старый швед Оскар. Знаменитый был когда-то чемпион. Гроза! Первому мне с ним пришлось встретиться. Гляжу, лет за сорок, большой, сутулый, крепкий, но бледный, и губы дрожат. Схватились. Чувствую, что сломить его нетрудно, и все жду приема, чтобы красивее вышло. И только хотел я изловчиться, а он вдруг как зашептал: «Не клади на лопатки, не клади! Сделай вничью! Не губи! Мне еще полгода надо побороться. Долги заплатить, семью поднять. Не то пропал я. Если не положишь сразу — все будут знать, что Оскар еще борец перво-разрядный». И таково жалобно просил меня Оскар, что я было подумал, стоит ли его класть, но потом вдруг метнул его через голову и распластал...

Бык тяжело перевел дух и закашлялся, глядя в темный угол. После долгого молчания он начал быстро говорить, словно торопясь закончить:

— У нас по обычаю полагается после борьбы подать друг другу руку. Оскар встал и уже протянул мне было руку, да вдруг как грянется на спину, дрогнул, кровь из носу показала и... умер Оскар. От разрыва сердца скончался... С той поры со мной что-то случилось. Не мог я бороться, цирка видеть не мог. Не спал по ночам, все Оскара видел, как он, умирая, бил ногами песок в цирке, голос его слышал, то

печальный, то злой: «Зачем положил Оскара? По миру всю семью пустил!» И запил я...

— А как сюда-то попал? — спросил недавно прибывший на прииск рабочий, не знавший жизни Быка.

— А это уж очень просто. Пил, в карты играл, все спустил дочиста. Последним подлецом сделался, с бродягой городской связался. Кого-то в драке по пьяному делу ударил. На суде сказывали — убил, ну и сослали на поселенье, а теперь вот в «кобылке» приисковой состою, золото промышляю, пока не сдохну...

Бык замолчал, ни на кого не глядел и пил стакан за стаканом, угрюмо поглядывая на приисковых старателей, раскинувшихся на нарах в небрежных позах, пьющих и играющих в карты.

Старик вздремнул, но как раз в это время услышал голос Сеньки.

Приоткрыв глаза, Бык увидел, что Сенька нагнулся к самому почти лицу какого-то рябого парня и говорил ему, широко раскрывая мокрые, пьяные губы.

— А ты потом, значит... потом... Ничего!.. Зато денег сколько англичанин дать посулился. А ты потом. Никуда ей не уйти!

— Да, потом... — тянул угрюмым голосом парень, — а он с Варькой любовь первым крутить будет... У-у-у — проклятые нехристи!

Парень с размаха опустил огромный, черный кулак на нары с такой силой, что задребезжали стаканы и попадали бутылки.

— Ничего это, — успокаивал его Сенька, — как светать начнет, я к дому инженера, будто для стирки, приведу Варьку, да и впущу ее к ним в комнаты... Поплачет девка, поревет, да ништо! Тебя потом полюбит, как уж все одно ей будет...

И, говоря это, Сенька наливал товарищу стакан за стаканом и ободряюще смотрел на его пасмурное лицо.

Бык совсем отрезвел. Он сидел с закрытыми глазами, но не спал, все понимая и замечая.

Потом он встал, прошел к своим нарам и лег.

Тяжелые думы налегли на него. Ему вспомнилась Варька, еще совсем маленькая девчонка, как он привык ее считать. Ведь еще совсем недавно, когда на него напала огневица и ничто не помогало, ни корни чемерицы, ни кора кедровая, Варька сидела с ним, поила его холодной водой и вытирала пот с лица и лба, отгоняя таежную мошку, липучую, кусливую.

— А теперь вдруг, — думал Бык, — на тебе! Так-таки как всякая приисковая шкура к англичанину, значит, для забавы, за деньги только?.. Эх!

И, таясь, он начал натягивать на ноги длинные сапоги и надел красную вязаную фуфайку, а потом успокоился и затих.

Он еще видел, как прокрался по казарме сильно покачивающийся Сенька, как он неслышно открыл дверь и скрылся в темных сенях.

А потом вдруг все исчезло, все потонуло в черной, неподвижной пучине. Была тревога, была непобедимая беспомощность.

* * *

Бык вскочил и оглянулся.

Сразу вспомнилась работа в разрезе и камень с зелеными жилками. Потом ночь, пьянство и Сенька. А вслед за этим перед глазами старого атлета промелькнула черноглазая Варька.

Все стало понятным. Бык покосился на окно. Оттуда медленно полз в темную казарму мутный поток света.

— Опоздал! — шевельнулась мысль в голове Быка, и он почти бегом бросился вон из казармы.

Запыхавшийся и потный, добежал он до дома, где жили английские инженеры, доверенные, бухгалтеры и прочий иностранный народ, стоящий в стороне от русских на прииске.

Дом был одноэтажный, почти черный, как длинный ящик. В окнах был еще свет, который начинал уже бороть-

ся с расплывающимся повсюду сумраком ненастного дня.

А день был ненастный.

Ветер вздымал клубы песка с не успевшей еще высохнуть от росы земли, шумел в кустах и грохотал железом крыши. Вдали у запруды громко плескалась вода, по которой шла высокая рябь, мутная и пенистая.

Бык не знал, что ему предпринять, как вдруг сквозь шум ветвей и свист ветра до него донесся крик. Одиноким, тревожным крик женщины.

— Варька! — кричал Бык. — Варька!..

Крича, он бежал к освещенным окнам дома и заглянул внутрь.

Там стоял стол с грязной, залитой вином скатертью, валялись бутылки, куски хлеба и ветчины; на вазе для фруктов среди яблок и винограда лежала коробка из-под сардин и кусок сыра.

На диванах и креслах сидели бритые, краснощекие, загорелые англичане, пили вино и курили трубки.

В углу молодой английский инженер, только что выпитый компанией из Африки, без сюртука и жилета танцевал какой-то дикий танец, высоко вскидывая ноги, а перед ним плясала Варька, уже пьяная и раскрасневшаяся, и выкрикивала протяжно и тоскливо непонятные, бессмысленные слова.

Она плясала долго, и даже Быку этот танец показался страшным.

Его внезапно прервал англичанин. Он громко крикнул и схватив девушку на руки, начал вертеть ее в воздухе, как легкую игрушку. Потом с размаха он бросил ее на диван и начал срывать с нее платье, крича по-английски властным голосом;

— Вон! все вон!

Бык рванул дверь. Она с треском распахнулась, и атлет побежал дальше.

Он помнил, что схватил англичанина и отбросил его к стене, а затем услышал, как инженер что-то крикнул.

Толпа людей, рослых и сильных, несколько негров-слуг вбежали и набросились на Быка. Началась схватка. Потух-

ли лампы и в тусклых сумерках ворочалась черная груда бьющихся тел. Бык был внизу, и люди наседали на него, цепляясь друг за друга и падая на него.

Через несколько мгновений из этой груды тел начали вылетать люди. Они откидывались назад и тяжело падали, ударяясь о стулья и стены. Послышались удары, скрежет зубов и злобные ругательства.

Из кучи поднялся Бык. Лицо его было окровавлено и один глаз посинел и запух от удара.

Последнего из нападающих на него, рослого негра, он схватил за плечи и, тряхнув им, отшвырнул его в сторону, как ненужную ему доску.

Бык подошел к девушке и сказал:

— Пойдем, Варька, в тайгу! Не дело тебе здесь с этими нехристями жить... Обидят тебя, глупую... Идем...

Он взял ее за плечи и вел к двери, но в это время инженер вытянул руку и выстрелил.

Грузное тело Быка закачалось, и вслед за этим он рухнул на пол, у порога, разводя руками и что-то бормоча угасающим голосом.

Варька, растерзанная, с бледным лицом и растрепавшимися волосами, бежала по приисковой улице и визжала надрывно, тревожно:

— Дедку Быка убили! Товарищи, Быка убили!.. Беда-а-а...

НА ПРИИСКЕ

Среди храпа и сонного бормотания спящих рабочих уже слышались голоса, робкие и глухие.

Люди перекидывались короткими словами, с трудом открывая глаза и громко кашляя.

За красной кумачовой занавеской, отделяющей угол казармы от длинных нар, рослый бородач, Аким Пшенов, потянулся и, приподнявшись на локте, взглянул на спящую рядом жену, и, тихо толкнув ее, сказал сирым свистящим голосом:

— Вставай, Варвара, обряжаться пора: мне ноне в мокрый забой идти надо.

Сказав это, Аким сел на край нар и начал обматывать ноги грязными и не успевшими еще высохнуть за ночь портянками.

Встав на холодный земляной пол, он оглянулся.

Длинная казарма тонула еще во мраке и только над плитой, озаряемые светом лампадки, теплящейся пред образами, маячили белые, неясные тени.

Аким мрачно выругался и, повернувшись к жене, засипел:

— Опять жиганы проклятые рубахи да порты над плитой сушат! Черти, прости Господи!

Начавшая уже одеваться, Варвара выглянула из-за занавески и сказала:

— Куда ж им деваться-то?! К ночи мокрые, мерзлые пришли, — видел сам. Обсушиться-то надо ведь!

— Окружной сколько раз говорил, что, значит, это вредно для здоровья. Дух от этого тяжелый в казарме бывает, — слабо уже возражал Аким, вспоминая, что и он не раз делал то же, боясь даже подумать о том, что, проснувшись до рассвета, продрогший и усталый, он будет надевать на себя мокрые, холодные и скользкие рубаху, штаны и полушубок.

— Сегодня опять в мокрый забой, под «капеж»* идти, — просипел он, оправдываясь за вспышку злобы.

* Капеж — протекающая и падающая в шахту вода.

— Не убивайся ты, не мучь себя! — начала было Варвара, но Аким замахал на нее руками и, сипло кашляя, захрипел:

— Дороже поденщина, — скорей деньгами поправимся, да и в деревню подадимся!..

Говоря это, он натягивал тяжелые грубые сапоги и поправлял немного узкие и закоробившиеся голенища.

В казарме становилось светлее, и казалось, что вместе со светом врываются сюда волны звуков.

Кашель, голоса людей, окрики и редкий, будто тюремный смех смешивались с бранью, громоханием посуды, дров и доносившимися издали свистками с электрической станции.

Когда рабочие сидели за длинными столами и торопливо пили чай, обжигаясь и шумно дуя в блюдечки, к Варваре начали приставать рабочие и смеяться над нею.

Она была в казарме единственной женщиной. На приисках были и другие, но все же женщин было очень мало, и на них смотрели с жадным любопытством и плохо скрываемой надеждой.

Шутки были грубые и всегда развратные.

Аким хмурился, а Варвара, смущенная и зардевшаяся до слез, изредка отругивалась своим певучим говорком. Когда же двое жиганов, бездомных бродяг, знающих тайгу, как и тракт, чующих «золотишко» под землей и потому прикармливаемых приисковым управлением, начали тянуть жребий, поглядывая на Варвару, Аким побледнел и, утрюмо глядя на них, спросил:

— Вы там чего задумали, «кобылка»?*

— Твою супругу, Аким Прохорыч, разыграть хотим! — ответили те под крики и смех всей казармы.

Аким только крикнул и бросил:

— Не придется!..

— И то трудно будет! — засмеялся один из жиганов, по прозвищу «Чалый», — так мы так задумали. Кто вытянет

* Кобылка — это отбросы приискового населения и, одновременно, вожаки.

кругляшку с меткой, тот, значит, с раскрасавицей твоей вволю натешится, а кто без отметины — тот, значит, тебе, Аким Прохорыч, перо под ребрышко впихнет. И ему тогда, может статься, свою долю урвать доведется.

— Мразь! Шпана рваная! — засипел Аким. — Ну, подвернись который...

И он, перевернув кружку вверх дном, поднялся во весь рост и шагнул прочь от стола.

Жиганы невольно шарахнулись. Хотя они и знали, что Аким не станет драться в казарме, но его широкие плечи и хорошо знакомые им черные, могучие руки пугали их.

Где-то далеко грохнул колокол зовущим, злым стоном. Рабочие, накладывая на ходу поддевки и полушубки, выбегали из казарм.

Вышел и Аким, но на пороге он остановился и спросил:

— Варвара, ты что? Домовничаешь ноне?

— За стряпку я сегодня, Прохорыч.

— Ну, ладно! Гляди только, как что, — бей топором, мой ответ!

И он, сурово взглянув на жену, запер за собою дверь.

* * *

Варвара успела уже перемыть всю посуду, когда в казарму вошла Степанида, десятникова жена, и затараторила:

— Варварушка, миленькая ты моя! Беги ты, что мочи, к «самому». Тебя спрашивает. Велел сказать, чтобы, не мешкая, шла.

— К управляющему? — спросила Варвара. — Да я стряпкой осталась. Обед приготовить артели надо же. Как же я?

— Уж я тут управлюсь без тебя, а ты бегом ступай! Не то, сама знаешь сердчать зачнет, с прииска сгонит...

Варвара заторопилась и, накинув на плечи платок, побежала.

В конторе еще никого не было.

Управляющий, маленький, пожилой человек с широким, масляным лицом и глубоко запрятанными узкими и зоркими глазками, встретил ее приветливо.

— Здравствуйте, — сказал он и подал ей руку. — Вот надо тут мне полы да окна помыть, пока в конторе не начнется работа.

— Слушаюсь, Иннокентий Михалыч, — сказала Варвара и скинула платок с головы.

Управляющий пробежал вспыхнувшим взором по ее высокой фигуре с дерзкой и пышной грудью и крепкими, круглыми бедрами.

— Красота какая! — сказал он вслух. — И на прииске работает со всякой шпаной!

— С мужем мы здесь вместе, — ответила Варвара, хмуря брови. — Где воды и мыла взять? — спросила она деловито и торопливо.

— В кухне, — сказал Иннокентий Михайлович, — давайте, я вам покажу.

Когда они проходили по узкому и темному коридорчику, Варвара, слыша, как управляющий идет за ней неровными шагами, чувствовала страх, словно за ней крался опасный зверь, и вдруг поняла, что он сейчас бросится на нее, и начнется борьба. Она вся сжалась и даже голову втянула в плечи. Сделала еще два шага и почувствовала, что мягкая рука управляющего легла ей на спину и сильно впиалась в нее. Другой рукой идущий сзади враг схватил ее за плечо и больно мял его и щипал. Варвара рванулась и прибавила шагу.

— Ежели что, — я уйду! — проговорила она и, не глядя на управляющего, начала наливать воду в ведро.

Через несколько минут Варвара, подоткнув юбку, терла тряпкой грязный конторский пол, думая о том, чтобы скорей кончить работу и уйти в казарму.

Она мучительно думала о том, надо ли говорить мужу о новой опасности, угрожающей им.

К охоте за ней она уже привыкла. Ее подстерегали десятники, нарядчики и материальные; в выработке, откуда откатывали тачки с землей и песком, к ней приставали дю-

жие подростки, стараясь обнять ее и поцеловать; в закоулках золотопромывной машины ее хватали и щипали, стараясь повалить, рабочие и, когда она, отбившись от них, уходила, ругали ее гнилой острожной бранью, проклинали и кидали в нее камнями, свирепея, как дикие, злые звери.

Теперь нельзя было отделаться ударом кулака или звонкой пощечиной.

«Стноит Акима в шахте, изведет вконец, а не то и совсем к расчету представит, — тревожно думала Варвара. — Куда на весну, в половодье пойдем, горемычные, с этих проклятых приисков? В тайге схорониться нельзя, — урядник найдет, к мировому потащит!»

И все более и более скорбные мысли одолевали женщину, и ей вспоминалась мрачная дорога сюда, на прииски, в эту землю обетованную, где почва родит золото вместо хлеба.

Длинная цепь дней голодных и беспокойных: духота и теснота в вагонах и в трюме плохого парохода. Страшная, нелюдимая Лена. Витим, не то село, не то город, Бодайбо — все это сливалось в голове Варвары в одну тягучую, мучительно-тяжелую картину. А потом кошмарная жизнь на прииске. Беспросветные, безрадостные дни. Сегодня и завтра тяжелая, каторжная работа, жалкая пища, холод, обида. Потом житье в казарме вместе с холостыми.

Грубое, распущенное ухаживание, подсматривание за ней, искание в ее глазах хотя бы тени ответного желания, гнев и обида за жену Акима, драки его и перебранки с наиболее смелыми из рабочих, — все это слилось в одну мрачную и страшную картину, мучительную и тревожную.

Вспоминая об этом, Варвара вздохнула и выпрямилась. Взгляд ее упал на дверь, и она вздрогнула.

Иннокентий Михайлович с красным, перекошенным лицом и вытянутыми вперед руками мелкими шагами подвигался к ней.

Его рот плотоядно улыбался, и между раскрытыми губами колебалась, то удлиняясь, то сокращаясь, белая нитка тягучей слюны. Глаза управляющего впились в ее ноги,

выглядывающие из-под подоткнутой юбки.

Варвара, застыдившись, начала оправлять платье, но Иннокентий Михайлович бросился к ней и, обхватив ее, шептал захлебывающимся голосом:

— Пойдем, красавица, пойдем ко мне, ненаглядная! Никто не увидит нас, никто не скажет. Озолочу! Озолочу!

Руки управляющего становились смелей и жгли Варвару, как огонь.

Ей становилось стыдно и страшно, и она не знала, что делать.

Иннокентий Михайлович тем временем толкал ее в сторону двери, оставляя на шее Варвары следы мокрых, беспорядочных поцелуев.

И вдруг что-то сорвалось в груди женщины. Отчаяние или злоба, горячая и сильная, заставила ее сразу успокоиться и коротким, неожиданным толчком отбросить от себя управляющего. Он отскочил и больно ударился головой о косяк, раскатисто выругавшись.

— Так ты такая?! — угрожающе протянул он.

Но Варвара уже не слушала его. На ходу одеваясь и завертываясь в платок, она уже выходила из конторы.

Проходя мимо отвалов, куда свозили всю промытую уже землю, Варвара упорно думала о том, стоит ли говорить Акиме об управляющем.

Она вздрогнула, когда услышала голос, зовущий ее по имени.

Варвара остановилась, видя, что к ней, размахивая руками, бежит какой-то рабочий.

Он выскочил из узкого прохода между холмами сваленной земли и быстро приближался к ней, что-то крича.

— Хозяйка, — разобрала она, наконец, — с мужем твоим беда-от приключилась, с Акимом... Сорвался он в шахту... Там вот лежит...

Варвара, не расспрашивая, побежала в сторону желтых холмов земли, где неуклюже прыгали галки, протяжно каркая.

Не успела она пробежать нескольких шагов, как кто-то притаившийся больно ударил ее чем-то тяжелым и накинул на нее тряпку, зажав ей рот и закрыв глаза.

Через мгновение она почувствовала, как кто-то навалился ей на грудь и, жадно целуя ее рот через покрывающую его тряпку, задышался и шептал:

— Наконец-то! Наконец-то! Не все же Акиму счастье! — Теперь и мы тобой понатешимся, красавица!

.

Вечером в сумрачной казарме было тихо. Никто не говорил и не шептал. На нарах лежали спящие люди, утомленные работой.

Даже жиганы притихли.

Только за красной занавеской горел огарок свечки и слышался шепот, тихий и горячий.

Варвара, истерзанная, заплаканная, лежала и ломала руки в отчаянии.

Она по временам, едва заметно шевеля губами, рассказывала о чем-то склонившемуся над ней Акиму.

— Так и обидели? Силком? Втроем на бабу набросились? — спрашивал он, мрачно всматриваясь в лицо жены.

И когда Варвара молча кивнула головой и руками сжала себе горло, чтобы не кричать от боли и стыда, Аким сел на нары и, вытащив из сундучка нож, уже спокойно начал осматривать его, пробуя, крепка ли рукоятка, и щупая длинное источенное лезвие.

ПЕРЕД ЛИЦОМ БОГА

«Если бы новую землю и новое небо сотворил себе человек, — и тогда он не убежал бы от печали своей».

I

— Выходи, барин! Дальше не проехать. Гать кончилась, теперь тропа прямо до прииска дойдет.

Из плетеной тележки вышел человек в фуражке горного инженера и остановился около ямщика.

— Пойдешь, барин, по тропе, — продолжал тот, наклоняясь к нему, — и тут сейчас начнутся отвалы, а там и контора близко. По огням узнаешь. Работника за чемоданами посылай, я здесь погожу.

Инженер плотнее застегнул на себе пальто и направился к тропинке, извивающейся среди невысоких кустов.

Густая темнота грузно налегла на землю. Луна спряталась за облаками и выглядывала редко, бледная и тревожная.

Жалобно и пугливо шумели кусты, и среди них, словно привидения, маячили в темноте одинокие, чахлые березы. Их белые стволы и пожелтевшая листва выступали мутными пятнами, а беспомощно вздрагивающие ветви с каким-то отчаянием не то куда-то звали, не то указывали на что-то, для них только видимое и понятное, о чем они, эти грустные березы, плакали и убивались.

Ветер спутывал ноги идущего человека лапами его пальто, срывал с него фуражку, дул в лицо, боролся с ним и не пускал.

Ямщик был прав.

Тряская гать окончилась, и под ногами сочно чавкала черная, вязкая земля.

Углубившись в кусты, инженер шел быстрее.

Его уже не задерживал ветер, залетающий сюда лишь по временам, разбиваясь на торопливые, бессильные струйки.

Кусты сразу оборвались, как бы ушли под землю или внезапно убежали назад.

Выглянувшая сквозь разорванные тучи луна осветила большую лощину. Ее голые склоны были изрыты и исковерканы. Целые гряды холмов желто-бурой и черной земли шли неправильными увалами, перерезываясь длинными желобами с бегущей по ним водой, неуклюжими постройками и вбитыми в вязкую почву сваями.

Тропинка выбежала в небольшую долину, где громко бурлил ручей. Доносились редкие голоса людей. Лаяла громко собака, а ей вторил глухой крик гусей, покидавших на зиму эти угрюмые, дикие места.

На самом краю долины чернел небольшой дом. В окнах был свет.

«Контора», — подумал инженер и зашагал быстрее.

Перейдя деревянный мостик, он подошел к дому и остановился, заметив на крыльце темную фигуру женщины. Она сидела, завернувшись с головой в большую шаль, и не слышала его шагов. Женщина плакала, и видно было, как вздрагивали ее плечи и тряслась голова.

Инженер кашлянул.

Женщина сбросила шаль и тревожно смотрела на незнакомца большими, блестящими от слез глазами.

— Вы, верно, товарищ мужа, новый инженер? — спросила она глухим, бесстрастным голосом. — Сейчас я скажу Петру Семеновичу.

Приезжий снял фуражку и хотел назвать себя, но она круто повернулась и скрылась в сенях. Тотчас же на крыльцо вышел коренастый, невысокого роста человек, торопливо застегивающий кожаную куртку.

— Здравствуйте, товарищ! — крикнул он. — Сколько лет, сколько зим! Вот уж никак не предполагал, что здесь встречаемся.

— Да! Странно переплетаются дороги людей, — отвечал приезжий, целуясь с хозяином и входя за ним в дом. — В институте кто не знал старост, Королькова и Барсова? Неразлучными ведь звали. Помните? А сколько лет прошло, пока мы опять встретились... И где...

II

Через полчаса приезжий инженер сидел уже за чайным столом и, слушая рассказы Петра Семеновича о жизни на прииске, с любопытством разглядывал забытую уже коренастую фигуру товарища, его некрасивое, но мужественное лицо, покрытое тем здоровым бронзовым загаром, какой бывает только у моряков и охотников.

— Жизнь здесь привольная, спокойная, — говорил Корольков. — Люди простые, смиренные. Охота, доложу я вам, — первый сорт! Изюбрь, сохатый, медведь и волк — все, что хотите! А птицы — тетеревей, глухарей да гусей, — хоть пруд пруди! Я здесь прожил пять лет и ни за что бы не уехал. Не тянет меня больше в эти самые культурные центры.

— Неужели? — удивился инженер.

— Да что в них хорошего? Утомительная, лихорадочная жизнь. Все-то вас гонит куда-то, торопит даже тогда, когда вам вовсе и делать-то нечего.

— А общественная жизнь? Умственные течения?

— Да, да... — отозвался Корольков, — это конечно, привлекает, манит. А только, знаете ли, Василий Константинович, изверился и во всем этом! У нас, русских, все как-то не по-настоящему, будто не дело делают, а так, шутят или забавляются. Я увидел, что общественная работа, в конце концов, является лишь ареной для самолюбия, чванства или афер. Я еще в институте, если вспомните, не чувствовал во всем этом искренности. Вот вы были за границей и не знаете многого, а меня убедила в этом судьба большинства наших самых пылких товарищей. Что же касается умственных течений...

Корольков вдруг вскочил и замахал руками.

— Простите, Василий Константинович, Христа ради! Я вас утомляю своей болтовней. Вам бы отдохнуть с дороги...

— Нет, нет! — поспешил возразить Барсов. — Мне очень приятно и интересно беседовать с вами. Как-никак, но ведь вы в силу обстоятельств находитесь в ином мире, чем все культурные люди. Вы столько лет прожили лицом к лицу с

дикой природой.

— Перед лицом Бога! — улыбнулся Корольков. — Перед лицом Бога, как говорит жена. Да! Только здесь, в полной тиши, вдали от суеты, изменяющей характер и образ мыслей, — человек находит время поговорить с самим собой, заглянуть в собственную душу. И это, знаете ли, прелюбопытно! Сам себя не узнаешь. Сначала пугаешься этой возможности остаться с самим собой с глазу на глаз, избегаешь этого, а потом — ничего, — привыкаешь. Я вот здесь только убедился, что умственные течения, нравственные принципы возможно осуществить лишь в одиночестве, когда вы спокойно, не торопясь, можете выбрать свое течение, и его не будут отклонять и возмущать врывающиеся извне притоки, что неизбежно, если живешь на людях. Да... я бы не уехал отсюда!..

— Между тем, вы покидаете прииск? — заметил Барсов.

— Покидаю, — произнес, понижая голос, Корольков, — нельзя иначе. Довольно!.. Поживите теперь вы. Это полезно для человека. Никогда не забудете... Поживите!

— Перед лицом Бога? — улыбнулся инженер.

— Вот именно! — кивнул головой Корольков. — Великое это дело, батенька!

Он замолчал и потупился. Потом поднялся, закурил папиросу и начал медленно ходить, останавливаясь у стола и прихлебывая чай из большой красной чашки.

Кто-то быстро вбежал по ступенькам крыльца и постучал в дверь.

— Что надо? — крикнул Корольков.

Вошел десятник и, тяжело дыша, бормотал:

— Едут... приехали...

— Кто приехал? Чего ты испугался, Павел? — спросил, подходя к нему, Петр Семенович.

— Барин, опять исправник едут с стражниками! Много их... Приказали вам сказать, что тут, около прииска, беглый укрывается. Облаву делать будут... Наших всех приисковых сгонять велют к лесу...

Сказав это, десятник растерянно развел руками и начал всматриваться в лицо Петра Семеновича.

— Ступай, Павел! — приказал Корольков. — Скажи нашим, чтобы не скандалили и выходили к лесу. Ничего не поделаешь...

Десятник низко нагнулся и вышел в сени.

— Пока до свидания, Василий Константинович, — сказал Корольков, — надо пойти присмотреть за рабочими. Боюсь, не вышло бы неприятностей. Не любят здесь охотиться за беглыми. К ним привыкли, их даже любят. Да и не удивительно. Беглые — народ бывалый и всегда приносят с собой какую-то тревожную, возбуждающую струю. Это ценится здесь, на приисках. Вам не будет скучно? Ну, постойте, — я к вам сюда жену приведу.

Через минуту вошла высокая женщина с темными, скорбно смотрящими глазами.

— Позвольте вас познакомить, Василий Константинович, с моей женой, Верой Алексеевной! — сказал Корольков, бросая на жену тревожный взгляд. — Расскажите ей про Петербург, — она любит вспоминать о нем.

Когда Петр Семенович ушел, Барсов взглянул на суровое, печальное лицо Веры Алексеевны и невольно смутился. Он пытался начать с ней разговор, но это ему не удалось. Она отвечала коротко и отрывисто и глядела на него в упор темными, глубокими глазами, от которых веяло жутью и мучительной, неразгаданной тайной.

От внимательного взора Барсова не ускользнула горькая складка, прорезывавшая лоб Веры Алексеевны, и несколько седых нитей, серебрившихся в густых черных волосах.

Инженер оставил свое намерение вызвать ее на разговор и начал сам рассказывать ей о жизни за границей и в Петербурге. Взглянув на ее красивое лицо, он с удивлением заметил, что она слушает его рассеянно, с раздражением скользя взглядом по комнате и с каким-то болезненным напряжением сдерживая себя.

Когда издали донеслись крики и глухой гул голосов, Вера Алексеевна быстро поднялась и направилась к двери.

— Я сейчас... — бросила она на ходу, не оглянувшись на гостя.

Но не успела она произнести этих слов, как дверь медленно открылась и на пороге словно вырос худой, высокий человек в большой мохнатой папахе.

Он плотно закрыл за собой дверь и снял папаху. Черные, растрепанные волосы упали на высокий белый лоб и спустились на прозрачные, немигающие глаза.

— Прости, Вера Алексеевна! Поздний гость — всегда помеха! — произнес он вкрадчивым голосом, подозрительно оглядывая приехжего инженера.

— Пожалуйста, пожалуйста, отец Яков! — заторопилась Королькова. — Что за позднее время? Еще совсем рано, да, кстати, вот они приехали, о Петербурге рассказывали.

Высокий человек поклонился в сторону Барсова, повертывая голову так, чтобы лучше слышать доносившиеся от прииска голоса.

— У вас там исправник, видно, кого-нибудь ищет? — спросил он вскользь, теребя реденькую бородку и пристально глядя на Веру Алексеевну.

— Беглого... — ответила она. — Да сюда исправник не придет. Он с мужем не в ладах.

— Мне что ж? — пусть заходит... — пробормотал гость, опуская глаза и сжимая тонкие, узловатые пальцы.

На нем был узкий черный подрясник, подпоясанный широким ремнем, и длинные простые сапоги.

— Из столицы прибыли? — произнес он, осторожно вытягивая шею к сторону инженера.

— Да, из Петербурга.

— Шумный, большой город! Трудно и хитро в нем жить, — продолжал гость, присаживаясь к столу.

— А вы бывали там? — спросил Барсов.

— Бывал... много раз. Грешный город, как и все.

— Ну, я думаю, что Петербург грешнее других городов, если уж говорить о грехе! — засмеялся инженер.

— Нельзя этого сказать! — твердо возразил отец Яков. — В городах повсюду живет только один большой грех. И тяжелее его нет на земле и страшнее нет во всем мире греха.

Барсов взглянул на Веру Алексеевну. Она сидела неподвижно, сложив руки на коленях, и, не сводя глаз с под-

вижного лица гостя, слушала.

— Вы какой грех имеете в виду? — спросил инженер.

— Страшный грех забвения себя и других, — ответил высокоый человек и поднял голову. В его глазах загорелись яркие искорки. — Забвение...

— Я вас не понимаю, — пожал плечами Барсов. — Я думаю, что в городах, наоборот, люди слишком заботятся о себе, и вся их жизнь уходит на борьбу за свое благополучие.

— Вот это и есть забвение! — воскликнул, возбужденно смеясь, отец Яков. — В этой борьбе люди забывают о том, к чему они приспособлены, для чего созданы, что им может доставить радость, настоящую радость, истинное счастье. Ведь только глубокою радостью, полным счастьем могут люди быть угодными Богу!.. Только этого никто не хочет понять. Люди выдумывают для себя всякие радости и ненастоящее счастье, а потому все ропщут, все страдают. В работе, в спешке, усталые и загнанные, люди забывают о себе, хотят переродиться, как машину приспособить себя к тому, что сами выдумали и что им вовсе не нужно! И так проходят года, человек забывает себя, свои желания и тоску, рядится в разные тряпки и теряет себя совсем. Не узнать его потом! И в городах никто никогда не станет на правильный путь...

— Да, вы совершенно правы! — задумчиво произнес инженер. — Только я думал, что вы о городском разврате будете говорить.

— Разврат — это иногда спасение... В нем человек проявляется... Лучше это, чем всю жизнь притворяться, себя и других калечить.

— Лучше, однако, чтобы не было разврата.

— Конечно! — подтвердил отец Яков. — Городской разврат все-таки, в конце концов, обман или насилие. Но это преступление меньше, чем убийство, а убийство меньше, чем забвение души других, так или иначе связанных с вами. Ведь что делают люди? Забыв о себе, они с головой уходят в работу, и вся их забота — накормить, одеть жену, сестру, мать, детей. Только о теле думают все. А до души, до того, кто к чему рвется, о чем тоскует, в чем сомневается,

— никому нет никакого дела! И выходит так, что возьмут самого близкого, родного человека и бросят его без помощи, без счастья на пустырь. Бьется он там, плачет, скорбит, а года проходят безрадостно, беспросветно, одиноко. Мечется он, ища счастья, ошибается, грязнит душу, теряет себя. Оглянется вдруг и увидит, что молодость, силы и надежда — все, все ушло, сгинуло, умерло...

Барсов внимательно слушал этого странного человека, говорящего с таким горячим убеждением в голосе.

— Великий грех гнездится в городах, и бежит он уж отсюда в села и деревни! Я видел его повсюду. И нет уж сил бороться с ним! Нет! Велик он и могуч!

Незнакомец почти кричал, и в его голосе слышалась ненависть.

— Люди не видят ничего... — продолжал он, тряся рукой над столом. — Ослепли они, обезумели... И не увидят этого греха, пока земля не очистится, пока не сгинет зараза труда! Новых людей надо! Новых надо!..

— Легко сказать — надо, а как исполнить это? — спросил Барсов, взволнованный искренностью и порывистостью отца Якова.

— Встать перед Богом и сказать: «Великий Творец, Всеблагий и Человеколюбец! Потерял я себя, забыл и не могу найти, не могу вспомнить. Аз раб греха, поклоняющийся труду и отдающий заразу сыну моему и дочери моей. Отпусти же ныне Ты меня — недостойного!»

Голос незнакомца дрожал и казалось, что в нем рыдал кто-то бесконечно несчастный, отчаявшийся в спасении.

— И пусть такой человек совершит над собою справедливый суд... — почти шепотом произнес монах и замолчал.

— Самоубийство? — спросил инженер.

— Очищение земли, уготовление пути для грядущих за нами... — уклончиво ответил отец Яков, низко опуская голову.

Но он тотчас же выпрямился и вдруг, быстро повернувшись от света, сторожко покосился на дверь.

Со двора доносился громкий разговор.

Послышались шаги на крыльце и голос Королькова.

— Ступай спать, Павел. Да по дороге погляди, заперта ли кладовая.

— Счастливо оставаться, барин! — ответил десятник. — Беспременно погляжу. Всякую ночь ведь проверяю.

Дверь открылась, и в комнату вошел Петр Семенович.

Увидев монаха, он насупился, но подошел к нему и крепко пожал ему руку.

— Как поживаете, отец Яков? — произнес он. — Редкий гость — вы... у нас в доме... Садитесь!

Повернувшись к Барсову, Корольков продолжал:

— Надоел мне этот исправник! Нарочно делает облавы, чтобы досадить нам. Это удовольствие предстоит теперь и вам, Василий Константинович, так как исправник не любит нашего хозяина. Он даже зимой, когда здесь почти никого нет, — наезжает и ищет беглых.

Корольков старался казаться спокойным, но его глаза пытливо перебегали от отца Якова к жене и искали на ее лице ответа на какие-то мучительные, жгучие вопросы.

Следил за монахом и Барсов, и ему удалось заметить, как во время разговора отец Яков скользил взглядом по лицу и рукам Веры Алексеевны, и яркие огоньки не переставали вспыхивать в его прозрачных глазах.

Было уже поздно. За стеной глухо пробили часы, и отец Яков поднялся.

— Прощения прошу! — сказал он, торопливо перекрестившись. — Засиделся я, а путь не близкий.

— Вы разве не останетесь ночевать? — спросила Вера Алексеевна, с тревогой взглянув на монаха. — Опасно ночью в лесу...

— Остались бы... — предложил и Корольков, закуривая папиросу.

— Покорно благодарю, а только мне в скит надо. Никто меня не тронет, разве человек... так от него все равно и дома не убережешься.

Сказав это, монах зябко передернул плечами и покосился на окно, к которому вплотную прильнула черная, безглазая ночь.

Простившись со всеми, он сгорбился и неслышно вышел, бесшумно заперев за собою дверь. Даже крыльцо не скрипнуло под его легкими, крадущимися шагами.

Ушла Вера Алексеевна, и в комнате наступило молчание. Только в остывающем самоваре кто-то невидимый, дробно и звонко, стучал молотком по наковальне и порой вскрикивал протяжно и глухо.

— Станный монах... — нарушил молчание Барсов. — Откуда он здесь?

— Не знаю! — ответил Корольков и с размаха швырнул на пол недокуренную папиросу. — Мало ли здесь каких проходимцев не встретишь!.. Паспортов не спрашиваем. Живи как знаешь, если можешь. Ну, и набирается всякого народа...

— Вы его не любите?.. — заметил Барсов и тотчас же пожалел своих слов.

Петр Семенович вспыхнул и вскочил со стула.

— Нет! Нет! — бормотал он. — Мне все равно... Человек, как человек...

Он казался очень смущенным. Опять наступило неловкое молчание. Быстро распроставшись с Барсовым, Петр Семенович ушел.

Инженер начал раскладывать свой чемодан и вскоре улегся. Поставив на стул свечу, он по привычке еще читал, но усталость взяла свое, и Василий Константинович, потушив огонь, натянул на себя одеяло и повернулся на бок.

Он уже дремал, как вдруг ему почудился тихий, звенящий шорох по стеклу.

Барсов взглянул в темное окно, но все тонуло в густом мраке; шорох повторился еще раз и затих.

За стеной в спальне Корольковых отчетливо тикали часы и слышался взволнованный шепот Петра Семеновича и тихий плач его жены.

«Повсюду-то страдают люди...» — подумал Барсов, засыпая.

III

На другой день инженер вместе с Корольковым осматривал прииск и работы.

Промывку добытой земли уже оканчивали, снимали последнее золото с машины, и повсюду шли разговоры об уходе в город.

На зиму все рабочие, получив расчет, уходили в соседние города, оставляя на приисках лишь очередных для охраны имущества.

Утром был заморозок, и в бурой траве сверкал иней, медленно таявший от лучей тусклого осеннего солнца.

Обойдя изрытую, исковерканную просеку, где производились работы, познакомившись с десятниками, механиком и старостами, Барсов осмотрел постройки, а потом взобрался на высокую гряду промытой уже земли и оглянулся.

Большая долина была покрыта кустарником, местами выжженным или вырубленным. Вдали чернел лес.

«Лесная трущоба! — подумал Барсов. — Вот куда живет забросить человека судьба!..»

Инженер невольно вспомнил институт, петербургских знакомых, блестящие театры, шумные улицы и вздохнул.

Он отошел в сторону и стал наблюдать, как по настланным на топь доскам рабочие катили из выработки тяжелые тачки с песком.

Унылая картина настроила его на грустный лад. Ему представилась эта долина, покрытая снегом, с чернеющими из-под него бревенчатыми стенами казарм, нелепо ломающимися желобами и голыми, беспомощно вздрагивающими кустами.

Какая-то сосущая тревога шевельнулась и защемила сердце, но в это время над головой Барсова пронеслись глухие, отрывочные крики.

Он взглянул вверх и увидел большую стаю диких гусей, низко летевших над землей.

Сторожкие птицы уже заметили его и, торопливо взмахивая сильными крыльями, шли прямо вверх, пытливо опу-

стив упругие шеи и зорко глядя на землю с притаившимся на ней человеком.

Крики смолкли, и только звучал один, громкий и ободряющий.

Это подавал голос вожак, за которым неслась вся стая, чернеясь высоко под облаками рвущейся нитью.

Ему по временам отвечали беспокойным гоготанием задние гуси и торопливо взмахивали крыльями, стараясь не отстать и не выбиться из строя.

Барсов заметил несущиеся по ветру дымчатые облака, а под ними в разных местах длинные, прямые нити летящих журавлей и лебедей и волнующиеся треугольники гусей и уток.

— Перелет! — чуть не крикнул Барсов и побежал к дому.

Достав из чехла ружье и захватив с собой несколько зарядов, инженер направился в сторону речки, сверкающей под самым лесом.

— Василий Константинович! На охоту собрались? — крикнул ему Корольков из амбара, где шла приемка инструментов.

— Да! На речке лет хороший. Хочу попробовать.

— Перелет самый настоящий! — отозвался Петр Семенович. — Только вы, батенька, как перейдете мост, так к плесу через чащу, Бога ради, не идите. Зыбун там, — засосет. Вы во тропе спуститесь к речке, да по берегу пробирайтесь за кустами.

Барсов вышел на дорогу и, увязая в глинистой разбухшей земле, быстро шагал, торопясь дойти до плеса, над которым стон стоял от летящих стай уток и гусей.

Не доходя до моста, он вдруг остановился, как вкопанный, а потом быстро вошел в кусты.

В стороне от дороги была свалена куча больших валунов, на которых сидела Вера Алексеевна, закутанная в платок. Рядом с ней, опершись на черный, окованный железом посошок, стоял отец Яков и что-то говорил, протягивая в сторону леса длинную, худую руку.

В кустах шумел ветер и заглушал слова, но порой утихал, и тогда до Барсова доносились обрывки разговора.

— Куда он, — туда уж и я... — донесся негромкий голос Веры Алексеевны.

Монах взмахнул посохом и сильно ударил им по камням.

— Зачем? — крикнул он. — Мало измучил он тебя?

— Без злобы, без желания он сделал меня несчастной, — ответил женский голос. — Все так живут. Работал он... некогда ему было обо мне думать. Не его вина, что мне не выдержать того, что все переносят легко...

— А здесь много он о тебе, Вера Алексеевна, думал? — раздражаясь, крикнул опять монах.

— Здесь он очень любил меня. Мне было бы здесь очень хорошо и спокойно, если бы не обида за прошлое, за то, что совсем уж ушло...

Зашумели кусты, и долго бежал по ним, злобно посвистывая, ветер. Когда улегся шум, Барсов услышал угрюмый голос отца Якова.

— Ну... что ж! — всякому свое... Не хочешь здесь остаться, Вера Алексеевна, — твоя воля! Только вот, что я тебе скажу! Много я о тебе думал и знаю, что опять на горе идешь ты... Всякому свое!.. В субботу в скиту радение будет. Приходи, погляди... подумай... может статься, дрогнет твое сердце... останешься здесь, пойдешь не с ним, а со мною...

Монах низко нагнулся над сидящей женщиной, и Барсов сквозь вздрагивающие ветви кустов видел его жадные, блестящие глаза, впившиеся в склоненное перед ним лицо женщины.

Вера Алексеевна не поднимала головы и только сжимала тонкие, бледные руки, тихо проводя ими по своему печальному лицу, как бы отгоняя назойливые мысли.

— Прощай! — сказал наконец отец Яков и быстро зашагал прочь.

Скоро он скрылся в лесу, а Вера Алексеевна медленно прошла по дороге совсем близко от спрятавшегося в кустах Барсова, который ясно видел ее утомленное, суровое лицо, сохранившее следы недавней красоты и большого горя.

IV

Корольковы собирались к отъезду. В доме шла укладка вещей. Повсюду стояли большие сундуки и корзины, заколачивались тяжелые ящики с книгами и посудой.

Последняя партия рабочих ушла в город, и Барсов с невольным страхом ожидал отъезда Корольковых, когда на прииске он останется один с несколькими рабочими.

Ему мерещились бесконечные тоскливые вечера, тусклые, нерадостные дни и мрачные ночи под завывание вьюги и немолчный говор кустов.

В пятницу днем выпал снег, но тотчас же стаял на дорогах и словно убежал и схоронился в мертвой, спутанной траве.

Вечером, когда Барсов вернулся с охоты, к нему вышел навстречу Корольков и сказал звучным, радостным голосом:

— Все готово! Завтра уезжаем. К ночи пошлю верхового за лошадьми.

Барсов печально посмотрел на него, но Петр Семенович не заметил этого взгляда и заговорил торопливо и страстно:

— Как спасения ждал я этого дня! Ведь вся жизнь, вся... на волоске висела два года!

Корольков вдруг замолк, взглянул на товарища испуганными, виноватыми глазами и быстро ушел в дом.

Барсов не хотел мешать Корольковым и пробродил весь день по прииску, позвав с собой десятника, у которого в избе он присидел до полуночи, рассматривая чертежи и счетные книги.

Вернувшись к себе, он, стараясь не шуметь, разделся и лег.

За стеной шел громкий разговор.

— Верочка! Уедем завтра, — просил возбужденным, дрожащим голосом Корольков. — Уедем! Зачем тебе идти туда?..

— Отец Яков звал... — тихо ответила Вера Алексеевна.

— Пожалей ты меня! — умолял Корольков. — Ведь два

года мучаюсь я! И днем и ночью одна мысль в голове... Боюсь потерять тебя...

Вера Алексеевна молчала.

— Вера, ты слышишь? — снова заволновался Петр Семенович. — Не могу больше так жить!..

Опять никто не отозвался. Прошло несколько тяжелых мгновений совершенной танины. Казалось, что даже часы в конторе остановились, и припал к стенам дома и затаился ветер.

Вдруг сорвался исступленный, горячий шепот:

— Понимаю!.. Понимаю! Уж поздно...

— Петр! — раздался строгий и властный окрик Веры Алексеевны.

— Говори все... добивай! — засмеяли коротким смехом Петр Семенович.

— Ты никогда не оскорблял меня. Зачем же теперь, когда мне трудно и страшно перед неизвестной жизнью, — ты против меня?..

— Ты доводишь меня до безумия!

— Нет! Ты ведь знаешь, что я не обманула тебя. Ты не можешь этого не знать! Ты вспомни, когда в Петербурге ты для работы покинул меня, не спросив даже, могу ли я быть для тебя только женой и любовницей, — я и тогда, одинокая и оставленная тобой, думала только о тебе... Ждала, что вернешься ко мне и принесешь мне свои мысли, мечты и тревоги...

— Да... тогда... — тихо проговорил Корольков.

— Но ты все не шел... И так проходили года, ушла молодость и исчезла способность радоваться. Когда ты вернулся ко мне? Ты помнишь, Петр? Тогда, когда даже ты заметил, что я гибну... Разве тот, кто пережил эту муку, может обмануть... забыть... жить своей жизнью?..

— Ты мне ничего не говоришь о монахе, — сказал Корольков. — Я все хочу знать... хоть теперь.

Барсов услышал, как скрипнул стул, и Петр Семенович начал быстро ходить по комнате.

— Я очень уважаю отца Якова, — спокойно произнесла Вера Алексеевна. — Я понимаю его учение об уничтожении

убивающего душу труда... Он указал мне источник моих страданий...

— А теперь? Зачем он теперь два года здесь? — почти закричал Корольков. — Он — новый пророк, гласит очищение земли и сидит среди двух десятков темных мужиков! Зачем? Ты думаешь, я не знаю, что вы встречаетесь у моста и подолгу разговариваете? Сколько раз... я брал его на прицел...

— Петя! — воскликнула женщина. — Что ты? Господь с тобою!

Корольков ничего не ответил, но до слуха Барсова донеслись его тяжелые стоны и громкий, прерывающийся шепот.

— Два года!.. Два года... Разве я не вижу, как он смотрит на тебя? Как при встрече с тобой он бледнеет и как дрожат и холодеют его руки? Ведь каждый день я жду, что он унесет, осквернит мое счастье! Ты хоть это пойми... пойми...

Барсов громко кашлянул.

За стеной замолкли; только изредка слышались тихий шепот и быстрые, неровные шаги.

Барсов оделся, накинул на плечи полушубок и вышел на крыльцо.

Вдали на дороге чернелся человек. Кто-то приближался осторожно, крадучись. Человек, не замечая Барсова, подошел к завешенному окну и неподвижно стоял, чутко слушая и не дыша.

Потом он скользнул в кусты и исчез.

Инженер вернулся домой. Он был уверен, что видел отца Якова, но не знал, сказать ли об этом Королькову или молчать.

V

На другой день чуть свет пришли лошади, но их разместили в приисковой конюшне и оставили до воскресенья.

С самого утра Барсов ушел в лес. На свежем снегу, вы-

павшем за ночь и покрывшем узкую лесную дорогу, инженер видел ясные отпечатки следов, а рядом с ними глубокие ямки и длинные борозды от палки.

— Отец Яков прошел... — подумал инженер с какой-то тревогой.

Верстах в трех от прииска он нагнал толпу охотников-крестьян. Они шли впереди, и Барсов видел, как, выйдя на большую поляну, они вдруг сняли беличьи шапки и тихой, пугливой поступью прошли к стоящей поодаль избе.

Барсов дошел до поляны и тотчас же заметил отца Якова.

С открытой головой и разметавшимися по высокому лбу черными прядями волос он стоял, прислонившись к толстому стволу березы, и зорко смотрел на дорогу.

Барсов поклонился ему, но тот молча вскинул на него безумные, блестящие глаза и вновь перевел их на дорогу, которая извилистой лентой бежала среди обожженного палом леса.

Инженер прошел дальше.

Монах долго стоял и так же молча смотрел на проходящих.

Это были рослые, широкоплечие охотники и крестьяне небольшой деревушки, затерянной в лесной трупщобе. Завидя отца Якова, они благоговейно снимали папахи и шапки и тихо входили в избу, толпясь у входа, сдержанно покашливая и изредка перекидываясь словами.

На повороте дороги показалась Вера Алексеевна.

Она шла своей медленной, усталой походкой, низко опустив голову и не поднимая глаз.

Поравнявшись с отцом Яковым, она еще ниже наклонилась и быстро прошла в скит.

Монах, не отрывая глаз, смотрел ей вслед, потом протянул к ней руки и словно застыл в немой, горячей мольбе.

Он долго чернелся неподвижным, причудливым пятном около белого ствола березы и казался мрачным извоянием.

По его лицу пробегали судороги, и страстным огнем пылали большие, прозрачные глаза.

Идущие в скит крестьяне видели отца Якова, поспешно

снимали шапки и торопливо скрывались в темных сенях скита, пугливо косясь на поляну.

VI

Небольшая изба была полна народу. Было душно и парно, и только через открытую настежь дверь вливалась широкая струя холодного воздуха и ползла по земляному полу.

Рослые, кражистые охотники, с черными от загара и дыма лицами, сгрудились, оставив узкий проход от двери к переднему углу.

Там стоял простой, белый стол, вплотную прижатый к стене.

Темный, суровый лик Спасителя глядел из угла, куда не попадал свет, скудно проникающий в скит через два маленьких, косых окна.

Вера Алексеевна прошла вперед и остановилась против стола, тоскливо взглядывая на нерадостную, встревоженную толпу мужчин.

— Вчера к ночи Сидора Мазыха нашли в овине... — громким шепотом произнес дюжий парень и осторожно опустил винтовку прикладом к земле.

— Ну-ну? — пронеслось по толпе. — Покончил?

— Из петли уже холодным вынули, — ответил парень и вздохнул.

— И в Лоскутовой намедни Илья Колчанов ножом себя полоснул, — рассказывал пожилой охотник тревожным, сдержанным голосом, озираясь на дверь и медленно поглаживая черную с сильной проседью бороду.

— О, Господи! — вздохнул кто-то.

— Полоснул, да плохо. Не прикончился... Крови вышло! Неладно смотреть было. Ослаб, а ничего — отходили...

Вошел еще один охотник.

Все оглянулись на него и пытливо уставились на незнакомого, но тот прошел в угол и начал истово креститься.

Охотники отвернулись и, толкая друг друга локтями,

тихо спрашивали:

— Чей будет? Откуда?

— Кто его знает?... Не здешний. Дальний, видно...

И опять любопытство заставляло оглядываться и посматривать на незнакомого охотника, который, словно не видя собравшихся, забился в темный угол, прислонил к стене ружье и молился, крепко прижимая пальцы ко лбу и груди и осеняя себя истовым, раздумчивым крестом.

Охотники с изумлением наблюдали за незнакомцем, но, увидев его широко раскрытые глаза, полные горячей, непоколебимой веры, тихую улыбку, застывшую на лице, начали сдержанно шептать и, подымая глаза на икону, клали поклоны, тихо произнося простые слова молитв.

Вера Алексеевна тоже взглянула в угол, где молился неизвестный охотник, но там было темно, да и незнакомец, при первом ее движении, склонился головой до самой земли и начал внятно шептать:

— Научи... наставь... спаси!..

Стоявший с ним рядом худой, высокий крестьянин грузно опустился на колени, задев плечом за висящую на стене кадьницу.

Она как-то жалобно зазвенела и начала качаться, ударяясь о бревна стены.

Все вздрогнули и тотчас же быстрее начали шевелиться руки, осеня лоб и грудь крестом, чаще клались поклоны и громче неслись вздохи и молитвенный шепот.

Порой наступала глубокая тишина, и тогда слышался горячий, сдавленный голос охотника, повторявшего одни и те же слова:

— Научи... спаси... наставь...

В открытую дверь вместе с холодом врывался шум леса, немолчный шорох природы и легкое завывание и посвистывание ветра, бегущего по кустам и вершинам деревьев.

Время шло. Отец Яков не появлялся.

Кто-то из охотников выглянул в сени и, вернувшись, зашептал:

— Стоит на том же месте... руки вперед тянет и смотрит прямо, словно кого видит...

— Господи помилуй!

Уже серые, обманчивые тени закопошились по углам и наполнили весь скит. В тусклом полумраке потонул лик Христа, и лишь Его суровые, с неммым укором смотрящие глаза грозили незримому врагу.

Фигуры людей сделались бесформенными и клубящимися, помертвели лица и желтоватыми пятнами маячили в сгущающихся сумерках.

— Грядет Создавший вас... грядет на суд!..

Откуда-то, словно издалека, донесся громкий голос отца Якова.

Все насторожились и повернулись к двери.

Настала такая тишина, что слышно было, как шуршали сухие листья под стеной избы и как свистел, разбегаясь торопливыми струйками, ветер, залетая в сени.

Громче шумели деревья и загадочно шептались кусты, передавая тревожную весть и унося ее дальше и глубже в лес, где тотчас же поднимался таинственный, сдержанный говор невидимых, но юрких и сторожких существ, пугающих одинокого путника и перекликающихся в чаще и на опушках перелесков.

— Приди, Творец Всеблагий и справедливый! Се уготовал аз — недостойный — пути Твои... — донесся опять, но на этот раз ближе, звонкий и какой-то жуткий голос монаха.

Толпа дрогнула и попятилась, расчищая проход и оттесняя Веру Алексеевну к окну. Она сбросила платок с головы и, повернувшись к двери, ждала, страстно молясь и прося чуда.

Она не замечала взгляда незнакомого охотника и озарявшей его лицо горькой, страдальческой улыбки.

— Сотвори чудо... спаси! — раздался его шепот и заставил всех вздрогнуть.

Как бы отвечая ему, совсем близко от скита послышался голос отца Якова.

— В грехе погрязшие, забывшие душу свою, сотворенную по образу и подобию Твоему, чуда великого ждут, дабы очистить путь новому безгрешному человеку. И сотво-

ри, сотвори чудо, Господи, Владыка наш и Человеколюбец! Сотвори! Сотвори!..

Голос монаха звучал мольбой, но в ней не было покорности; было властное требование, дерзкий зов.

Отец Яков остановился на пороге сеней и тотчас же по стенам и открытой двери забегали трепетные тени, скользя и ломаясь.

Иногда они исчезали, уходя в темноту, висящую под потолком, и тогда слабый желтый свет восковой свечки озарял бревенчатые стены скита и играл на косяке.

Наконец, все увидели отца Якова. Он дрожал и громко выбивал дробь зубами, держа в руках колеблющуюся свечу и уставив глаза перед собой.

На пороге скита он внезапно упал на колени и, сжимая свечу обеими руками, долго шевелил губами, прямо смотря восхищенным, молящим взором.

Радостно улыбаясь, он быстро поднялся и, войдя в скит, зажег лампаду перед иконой и возвратился в сени.

Лишь только он переступил порог, как тотчас же пал ниц и крикнул надрывным голосом:

— Молитесь, молитесь, недостойные!.. Се грядет Великий Судия!..

Глухой, грозный ропот леса ворвался в полутемную избу и заполнил все углы тревогой и ожиданием.

— Приди, Творец Всеблагий, яви чудо! Сердца рабов Твоих — храм Твой, и по слову Твоему сотворят они и положат предел греховной жизни своей...

Монах полз по земле, извиваясь, как черная змея, в трепетных, смутных тенях, бросаемых колеблющимся огнем свечи, и отступая перед Тем, Кого звал он страстным, безумным голосом. Он дополз до порога скита и, встав, быстро вошел в избу и проговорил торжественным и звучным голосом:

— Се, Господи, — рабы Твои, кающиеся в великом грехе жизни и, по слову Твоему, Вседержитель, отыдут они в Царствие Твое и пути очистят грядущим за ними! И мя, недостойного, отпусти ныне, и пойду гласить я волю Твою, гласить очищение земли!..

Отец Яков вновь упал на землю и целовал ее, хватаясь руками и прижимаясь к чему-то невидимому.

— Услышал моление мое... и аз узрел Тебя! — восторженным голосом, растягивая слова, как бы вдумываясь в их значение, говорил монах.

Жуткая, тоскливая тишина тяжело легла на толпу молящихся, напуганных людей. Никто не двигался, боясь громко дышать и поднять голову. Стоя на коленях и склонившись до самой земли, люди молчали, затаив дыхание и ожидая чего-то грозного и рокового, что надвигалось из мрака неизвестности и тайных, волнующих предчувствий.

Только мутные тени сумерек боролись в душном воздухе с медленными вспышками лампы и толпились повсюду, выбегая порой на середину скита, и быстро, бесшумно прятались, серые, неуловимые.

Монах замолк и на коленях медленно двигался по проходу, лицом к дверям, вытянув руки вперед, призывая и маня.

Когда он поравнялся со столом, он внезапно вскинулся во весь рост, закричал, скрежеща зубами, забился в судорогах на полу, а потом вскочил, ринулся в сени и, схватившись за косяк, завопил протяжным, рыдающим голосом:

— Не покидай, не оставляй нас, Всеблагий! Не уходи от нас, бессильных, забывших себя! Зовем Тебя зовом смерти!.. Кровью своей зовем!

Монах замолк, выбежал из сеней и, быстро вернувшись, начал повелительным, властным голосом, задыхаясь и плача, бросать короткие, тревожные слова:

— Ушел... опять ушел!.. Опять грех... мука... Скорей! Скорей! Он ждет исполнения. Скорей! Говорите: отпусти мя, недостойного... Смерть... смерть во спасение...

Голос монаха становился шипящим, и казалось, что он проникает до мозга, жжет его, сковывает волю и зажигает непонятную страсть и томление, будит жажду подвига.

Отец Яков выпрямился во весь рост. Глаза его метали искры, рот судорожно кривился и тянулись вверх зовущие, цепкие руки.

Он казался исполином и над склоненной толпой обезу-

мевших от ужаса людей гремел могучим голосом, в котором был властный, безжалостный приговор:

— Смертью умолите Творца явить чудо! Скорей! Он остановился и ждет...

Пронзительный, полный отчаяния крик заглушил слова монаха.

Высокий, худой парень, бормоча бессвязные слова, бросался в темном углу, расталкивая стоявших впереди.

Рука его метнулась в темноте, и сразу оборвался крик.

Парень грузно рухнул на землю и начал биться, хрипло и тяжело, со свистом дыша. Из перерезанного, клокочущего горла вырывались булькающие кровавые пузыри.

В мертвой тишине, полной ужаса и мрака, слышалось лишь тяжелое хрипение и глухие удары бьющих о землю ног умирающего.

Монах вышел в сени и хотел сказать что-то; он протянул даже руку, но в это время из темного угла вышел незнакомый охотник и молча покинул скит.

При первом движении его сразу исчезла тревога. Люди зашевелились и зашептались. Шепот перешел в тихий гул голосов.

Охотники склонились над умирающим и старались зажать ему рану, но кровь била сплошной струей, текла через рот и нос и собиралась на утоптанной земле пола большой черной лужей.

В сенях, прислонившись к стене, стоял незнакомый охотник и ждал.

Никто не заметил, когда он вернулся и вошел в скит. Все были заняты умирающим. Заклеивали рану паутиной и хлебным мякишем, перевязывали горло и прикладывали снег, перекидываясь тревожными, короткими словами.

Монах быстро повернулся и подошел к Вере Алексеевне.

Она стояла еще на коленях со сложенными на груди руками, а в ее глазах молитвенное, страстное ожидание сменялось безумным страхом. Она дрожала, слыша, как хрипит умирающий и как, возясь около него, тяжело дышат охотники.

— Вера! — зашептал монах. — Вера, останься со мной, не уезжай! Мне не жить без тебя... Одну тебя полюбил я на земле!.. И не надо мне ни счастья, ни спасения!.. Только ты... Только ты...

Она в ужасе отшатнулась от него и, вскочив, хотела бежать, но монах схватил ее цепкими руками и, прижимая к себе, задышающимся голосом шептал:

— Только ты... Только ты одна...

Вера Алексеевна рванулась и с силой оттолкнула от себя монаха. Он почти упал на стол и не успел удержать ее. Вера Алексеевна выбежала из скита.

В это время за ней сомкнулась толпа, выносившая в сени самоубийцу. Слышались голоса, читавшие отходную; с грустными словами молитвы сливалось затихающее хрипение умирающего.

Расталкивая охотников, отец Яков пробирался в сени.

VI

Барсов возвращался с охоты.

Уже смерклось, но дорога была ясно видна, так как тающий снег еще отражал последние блеклые лучи вечерней зари.

Не доходя до скита, инженер увидел, что вдали на дороге показалась женщина и быстро побежала в сторону прииска.

За ней гнался монах. Его сразу узнал Барсов по высокой, тонкой фигуре и развевающемуся черному подряснику. Еще кто-то третий, прячась в кустах и изредка выбегая на дорогу, следил за происходящим.

Не раздумывая, побежал и Барсов, чувствуя что-то жуткое в безмолвном беге этих людей, видневшихся перед ним в падающих сумерках и в густых тенях, выползающих из чащи.

Женщина заметно уставала и бежала с трудом, спотыкаясь и беспомощно взмахивая руками. Наконец, она исчез-

ла за поворотом дороги.

Монах побежал ей наперерез через чащу.

Еще была видна его голова с развевающимися волосами и черные рукава подрясника, как вдруг он сразу исчез, а затем грозный, полный ужаса и отчаяния крик повис в воздухе и, казалось, мчался по лесу, от дерева к дереву, от куста к кусту.

Слышалось звонкое, сосущее чавканье трясины и немолкающий крик.

Качались растущие на торфянистом зыбуне кусты и бурая, помертвевшая уже осока.

Откуда-то издалека ветер доносил карканье собирающихся на ночлег галок, и угрюмо гудел встревоженный лес.

Крик не умолкал, становясь заунывнее и грознее.

Не слышалось слов. По воздуху бежал и рвался безумный вопль:

— О... о... о... о...

И далекое эхо откликалось из-за речки:

— О... о...

Не успел Барсов добежать, как из кустов появился охотник и, перейдя дорогу, вышел в чащу.

Гулко грянул выстрел, и раскатились по чаще торопливые отголоски, звонкие и пугливые.

Крик сразу оборвался и замолкла трясина.

Барсов раздвинул куст в остолбенел.

Он узнал Петра Семеновича.

Корольков держал в руке дымящееся ружье и холодными глазами смотрел на трясину.

В нескольких шагах на бурой земле виднелось лишь окровавленное лицо монаха и белела рука, судорожно впившаяся в кочку.

Зыбун делал свое и тихо засасывал неподвижное тело, гордо и победно радуясь в своем безмолвии, словно совершая таинственный обряд.

Скоро все исчезло, и на поверхности торфяника осталось лишь большое черное пятно с выступившей на нем ржавой водой, где, глухо булькая, лопались пузыри.

Корольков повернулся и взглянул на инженера.

На одно неуловимо короткое мгновение глаза их с жутким любопытством встретились, но тотчас же разбежались.

— Петр Семенович, — проговорил после долгого и мучительного молчания Барсов, — я ничего не знаю, но я всегда могу сказать, что мы с вами были сегодня весь день на охоте...

— Благодарю вас... — шепнул Корольков. — Зыбун не выдаст, а суд был правый...

Сказав его, он, не оглядываясь, быстро пошел к мосту.

Барсов долго стоял на краю трясины; видел, как тонула она в опускающейся ночной темноте, и слушал.

Ветер утих, и только встревоженные верхушки леса чуть слышно роптали, да изредка шуршали, падая, последние мертвые листья.

Инженер вышел из кустов.

Вдали блестели огни на приiske, а выше уже загорались звезды.

Тишина наплывала отовсюду неторопливыми волнами, и не хотелось верить, что здесь прошла смерть и утолила ненависть и страсть своим холодным дыханием.

Откликнулась каким-то жадным, жутко-понятным голосом потонувшая в темноте трясина и умолкла, словно притаилась, дрожа от беззвучного, коварного смеха.

В ГИБЛЫХ МЕСТАХ

От небольшого озера Орона, вокруг которого, да и дальше, вниз по Витиму, разбросаны золотые прииски, где работают старатели, идет широкая «езжалая» тропа до самого Байкала. Кто поддерживает эту тропу, кто выкорчевывает выпирающие иногда из-под рыхлой целины черные, скрюченные коряги, кто настилает гати на топь около Сулата — неизвестно; всякий, однако, старается расширить и очистить дорогу.

Тропа вьется змеей по прихотливо цепляющимся друг за друга долинам и оврагам в диком и пустынном Муйском хребте. Только поздней осенью можно было видеть на ней большие толпы приисковых рабочих, подвигающихся к Иркутску, в Баргузин или Туркинское на зимовье. Летом же тропа зарастает высокой, сочной травой, и в ней, утопая по пояс, бредет разве лишь какой-нибудь неизвестный бродяжка-беглый, сторожко оглядывая местность и надрубая на березах и елях маленькие крестики — «приметы»...

Порой слышится звонкий стук копыт на гальке горных речек, и рядом с лошадьёю виднеется смелый купец-спиртонос, отчаянная, отпетая голова, не тужащая о том, что за ним охотится исправник...

Была осень. Среди черных елей пестрели нарядные березы и рябины, а их желтые и красные листья, тихо шурша, падали на землю и пугали зайцев и бурундуков, тревожно прячущихся в густых зарослях ольхи.

На полянке, в стороне от тропы, недалеко от верховий Баргузина стояла большая, просторная изба, окруженная крепким частоколом.

На ярком солнце насупившиеся, мохнатые ели казались сизыми, а на влажных от утренней холодной росы листьях березы играли подвижные блики, то разбрызгивая вокруг сотни коротких острых лучей, то скользя вглубь тайги.

Солнце уже не грело, как будто бы истощив весь свой жар, и лишь светило, медленно остывая...

По тропе шел пожилой человек с бледным, помятым лицом и робкими, загадочно смотрящими глазами. На спине у него висел тяжелый, туго набитый полотняный мешок и болталась дулом вниз берданка. Большой белый пес, понулив голову, уныло бежал впереди, тревожно оглядываясь на хозяина.

— Потерпи малость, Шайтанка! — утешал охотник. — Завтра к утру до Слюдяной дойдем. Там и отдохнем...

Всякий забайкалец, бывший на Витиме и в Бодайбо, сразу бы узнал в идущем Антона Мезгиря. Знали его не только во всем Забайкалье, но и в Иркутске лет десять подряд.

Антон был из ссыльных, и по одному из манифестов давно уже мог вернуться себе на Урал. Однако, он этого сразу не сделал и с той поры блуждал от Байкала до Олекмы, томясь и грустя.

— Стыдно было из «кичи»* да ссылки нищим домой ворочаться, — оправдывался он, — корить бы всякий стал да смеяться. Капитал хочу заработать — тогда и ворочусь. На богатого никто зря лаять не посмеет.

И Мезгирь с того времени «делал капитал».

Он нанялся на прииск одной золотопромышленной компании и оказался «фартливым»**. Золото давалось ему; все его шурфы были богатые, и на «зыбке»*** Антона всегда можно было найти буровато-желтый тяжелый песок. Никто за все лето не находил больше самородков, чем робкий и молчаливый Мезгирь. Зарабатывал он хорошо, жил смирно, не пил и на прииске не играл в карты. Его наперебой звали к себе разведчики для «фарту» и охотно принимали в артели старые, опытные старатели.

При осеннем расчете Антон всегда получал много засаленных, выцветших бумажек и, бережно пряпывая их за подкладку шапки, трогательно прощался с управляющим прииска и товарищами.

* Тюрьма.

** Счастливый.

*** Золотомывная машина.

— Прощайте! — говорил он тихим, неуверенным голосом. — Больше уж не приду! В свою сторону подамся...

Но этим словам никто не верил, и меньше всех сам Антон Мезгирь.

В этом был ужас жизни Антона. Десять лет он с непонятной, стихийной страстью рвался домой; его утомленное пережитыми муками воображение рисовало заманчивые, полные спокойствия и счастья картины его новой жизни на родине. И по-прежнему он блуждал в Забайкалье.

Когда в первый раз Мезгирь пробирался к Иркутску, робко улыбаясь и спеша домой, ему пришлось зайти на ночевку к Савелию Теплыху, держащему на своей заимке около тропы постоялый двор. Обойти его нельзя было. До соседнего села оставалось верст сорок, и сгущались уже сумерки, падающие колышущейся завесой на призрачно белеющие вдаль снежные зубцы Хабар-Дагана.

Молодой, безусый Савелий неотступно ходил за Мезгирем и пристально глядел на него своими белесыми, немигающими глазами.

Когда совсем стемнело и все постояльцы были в избе, Савелий, ни к кому не обращаясь, сказал своим мягким, вкрадчивым голосом:

— Сыграем в «святцы»*...

И своими бесцветными глазами он властно скользнул по лицу Антона..

Мезгирь оставил Теплыху весь свой заработок и, выйдя на двор, повесился на ремне, привязав его к стропилам сарая.

Из петли его, однако, вынули...

Мезгирь с трудом добрался до Туркинского и здесь умер бы от стужи и голода, если бы не встретившаяся ему партия промысловых охотников. К ним пристал Антон и скоро пристрастился к промыслу.

С того времени каждый год поздней осенью Мезгирь старался навсегда уйти из Забайкалья, но, проходя мимо

* Карты.

постоялого двора Савелия, вдруг различал в шуме тайги мягкий, но повелительный голос:

«Сыграем в “святцы”...»

Неведомая, могучая сила гнала Антона в избу Теплыха, где он проигрывал все, кроме Шайтана и ружья, и потом, молча, с глухим, безбрежным отчаянием в груди, уходил на всю зиму промышлять козу, сохатого и медведя. Весной же опять возвращался на прииски и упорно работал до осени, до нового проигрыша, до нового горя.

Мезгирь знал, что ему не вырваться из властных рук Теплыха: он презирал и ненавидел себя, стыдился людей, боясь их насмешек, но втайне робко ожидал чего-то, что должно спасти его и довести до страстно желанной цели.

Так было и теперь. Дойдя до узенькой, едва заметной дорожки, выющей в высокой траве, Мезгирь, быстро и не оглядываясь, прошел мимо, беззаботно посматривая на косяк запоздавших журавлей, черной рвущейся ниткой висящих под облаками.

Вдруг Антон остановился. В глазах его метнулся ужас и отчаяние. Он еще больше сторбился и опустился, потом свистом подозвал собаку и, повернувшись, покорно зашагал в сторону заимки Теплыха.

Широкая просторная изба была битком набита народом. Приисковые старатели, спиртоносы, шулера, гулящие женщины, поджидавшие здесь осенние партии рабочих, мелкие торгаши сидели за длинными столами, пили и ели, громко крича и смеясь.

Какой-то молодой охотник в щегольской черной рубахе, подпоясанный серебряным позументом, развалился на лавке и, чокаясь с Савелием, громко рассказывал:

— Иду это я по Соборной площади в Иркутском... Ну, понятно, винтовка на плече, как водится, азам и сапоги охотничьие. Шашь ко мне немец и зачинает чего-то лопотать. Насилу понял его...

Парень одним залпом выпил стакан пива и, хлопая Савелия по плечу, продолжал:

— Ладно, что понял! Дело сходное, сварганить можно.

На Хабар-Дагане, вишь ты, тур* объявился. Немец хочет изловить тура живьем. Охотников вызывал, тыщу за него объявил. Вот я и пошел... У тебя, Савелий Власыч, неделю погуляю, да и подамся на Бурятский Белок, потому беспрерывно тур туда утек... глухое место там...

Мезгирь внимательно слушал рассказ охотника, бережно укладывая на широкой лавке свой мешок и ружье и скармливая Шайтану остатки хлеба и солонины.

В углу у окна уже щелкали карты и слышались крики:

— «Кралей сердешной»** по «хахалю»*** крестовому!

— А я их «каторжной частью»**** — не ходи вдвоем...

— Сыграть бы и нам в святцы, Антон Тимофеевич... — зорко глядя в глаза Мезгирию, чуть внятным шепотом говорит Теплых, кривя губы в зловещую и горькую улыбку.

— Ужо к вечеру! — отвечает Мезгирь, присаживаясь к молодому охотнику и начиная с ним разговор.

— Так, говоришь, живым тура изловить надо? — спрашивает он.

— Беспременно живым. Уж одного, годов, почитай, что двадцать пять будет, изловил старик Звонцов из Суткинской, и тоже какому-то немцу за пять сотенных отдал. Этот больше дает. Уж больно тур занятен, да и то сказать, мало их стало...

II

В полночь, когда все уже спали, в углу на широкой лавке у окна резались в банчок Мезгирь с Савелием.

Они изредка взглядывали друг на друга, и тогда в их глазах вспыхивали недобрые огоньки, быстро потухая или куда-то прячась, чтобы снова загореться. Когда Антон на-

* Редко встречающийся в Байкальских и Муйских горах горный козел.

** Дама червей.

*** Валет.

**** Туз бубновый.

чинал выигрывать, Теплых откидывался к стене и, обнажая десны с неровными, желтыми зубами, молча всматривался в лоб постояльца, медленно шевеля губами. Мезгирь опять проигрывал, и тогда вновь встречались, скрещиваясь, злые взгляды, и еще более жутким казалось молчание, прерываемое тихим шелестом карт и громким храпением или бормотанием ночлежников.

Когда серые утренние тени начали вползать в избу, — Мезгирь поднялся с лавки и сказал, уныло глядя на свернувшегося у порога Шайтана:

— Шабаш! Больше не стану играть. Все отдал! Ваш фарт, Савелий Власыч... Светать скоро будет. Я уж на заре уйду...

— Погостили бы малость... отдохнули... — забормотал Савелий, пугливо поглядывая на охотника.

— Нет уж... уйду...

И чуть только первые золотистые лучи заиграли на косяках окон, из ворот постоянного двора вышел Мезгирь и быстро направился к езжалой тропе.

Десять лет он так же уходил отсюда, обыгранный, потерявший все надежды и желание жить, пришибленный судьбой, презирающий и ненавидящий себя.

Теперь Мезгирь не узнавал себя: он был спокоен и почти весел; шел, подняв высоко голову и радостно поглядывая на Шайтана, бегущего впереди.

— Ушли мы с тобой, Шайтанка, — громким, уверенным голосом сказал Антон, — теперь совсем уж ушли. Отыщем тура и изловим его. Деньги получим и уж мимо Савелия Власыча не пойдем. К «морю»* подадимся, к Иркутску, в свою сторону.

Мезгирь чувствовал, что он спокоен. Он был уверен, что найдет тура и продаст его по ту сторону Байкала, далеко от страшного Теплыха...

* «Морем» забайкальцы называют оз. Байкал.

III

Через неделю Мезгирь был уже на Хабар-Дагане, сплошным кольцом охватившем священное озеро. Горы были хорошо известны охотнику: здесь не раз он ходил за раненым медведем, скрывающимся в неприступные овраги, чтобы гордо и молчаливо умереть.

Долго искал Мезгирь следов тура. Наконец, под вечер он услышал издали глухой лай Шайтана. Найдя собаку, охотник увидел на чистом снегу свежий след незнакомого зверя. С этой минуты человек и собака сделались тенью одного тура.

Он ни разу не показался; сторожкий и быстрый, он казался Мезгирию привидением. Несколько раз тур бывал совсем близко: Мезгирь узнавал это по размашистым прыжкам зверя и глубоко уходящим в снег следам его ног.

Началась погоня. Днем и ночью охотник шел за туром и не давал ему отдыха и возможности вернуться назад. Мезгирь знал Хабар-Даган так же хорошо, как окрестности всех приисков, и помнил, что недалеко от Ангары стоит одинокая снежная сопка, куда он много раз загонял стадо сохатых и «добывал» их штука за штукой.

К этой-то сопке коварно направлял Антон бег тура. Охотник знал, что на вершине снежной горы была глубокая котловина с отвесными склонами; два узких ущелья вели в нее, делая котловину опасной западней среди нависших голых скал, по которым медленно полз вниз смерзшийся снег.

Наконец, однажды к вечеру, когда перед Мезгирем открылась, как на ладони, сопка, вся залитая последними багровыми лучами солнца, скрывающегося за тяжелыми серыми тучами, на краю котловины зачернелся тур. Это был темно-бурый, почти черный большой козел с толстыми, круто закинутыми на спину рогами.

Тур стоял и зорко глядел в сторону преследователя, как бы вызывая его на бой.

Мезгирь заулюлюкал и пустил Шайтана.

При первых звуках погони, тур мелькнул стрелой по самой вершине сопки и через мгновение исчез в котловине.

Мезгирь у одного из выходов протянул веревки, повесив на них пестрые лоскутки и бумажки; потом, зайдя с другой стороны, приладил несколько петель-силков; Шайтана он оставил, привязав его к острому обломку скалы.

Спустилась ночь; длинная вереница белоснежных гор, спящее внизу дикое озеро и дальний, чуть видный днем лесистый берег около Лиственничной потонули в ней. Застигнутый ночью тур боялся выйти из котловины, а утром, чуть свет, заслышав крики Мезгиря, заметался в западне и бросился к выходу, запутавшись в силках. Тур упал, издав глухое, отрывистое рычанье.

Долго возился Мезгирь, пока удалось ему связать сильного, отчаянно бьющегося зверя.

Окончив тяжелую работу, охотник сел поодаль и с каким-то недоумением начал осматривать давно знакомые горы, свинцово-серое озеро и чуть заметные поселки, раскинутые кое-где по бесконечно длинному, исчезающему в тумане берегу.

«Прощайте... прощайте! — думал Мезгирь, оглядывая алеющие на заре снежные островерхие горы. — Совсем ухожу, навсегда! Ведь вот, сколько раз хотел, а все не удавалось! Теперь уйду, к себе подамся, заживу, как все живут, по-настоящему...»

Налетел сильный ветер и бросил в лицо охотнику твердые, колющие льдинки...

«Баргузин* дуть zaczynaет... — подумал Антон. — К пурге это...»

Он встал и, взвалив на плечи козла, начал спускаться с сопки. Тяжелая ноша не позволяла быстро идти, и Мезгирю приходилось часто останавливаться и отдыхать. Тур рвался и бился, сползая с плеч охотника и еще более утомляя его.

Ветер крепчал и нес темные тучи, набегающие одна на другую, сталкивающиеся и клубящиеся совсем низко над

* «Баргузин» — ветер.

Хабар-Даганом. Закружились редкие белые снежинки, быстро уносясь и исчезая; их заменили новые, налетающие целыми стаями, заунывнее и злее визжал и стонал ветер, швыряя в охотника мелкими камнями и мхом, отрывая их от серых, унылых скал.

Сплошная белая завеса скрыла от глаз охотника цепь гор и озеро. Он скользил на камнях, терял направление и, наконец, выбился из сил. Мезгирь вспомнил, что где-то недалеко находится пещера, где, как поют буряты, прятался их князь, Тулук, пока его не задушили в ней китайцы. Охотник отыскал большую нависшую скалу, положил под ней связанного зверя и, приказав Шайтану «беречь» его, отправился на поиски пещеры Тулука.

Пурга злилась, саваном покрывала все горы, замела на скалах все «приметы».

Поздно вечером дошел Мезгирь до пещеры. В густом мраке маячили какие-то призрачные мутные тени, то взмывающие длинными руками, то пригибающиеся к земле.

Вернуться к туру Антон боялся. Он мог заблудиться, где-нибудь сорваться и упасть на камни, а потому заночевал в пещере. Заснуть Мезгирь не мог. В длинном темном горле подземелья кто-то томился и горько плакался, то захлебываясь слезами, то жалобно вскрикивая непонятные слова. Мезгирь вздрагивал, вслушиваясь в эти странные голоса, перекликающиеся в пещере, и вдруг до его слуха донесся суровый, завывающий голос:

— Ту-лу-у-ук! Ту-у-у-лук!..

Антон даже перекрестился...

Голоса затихли, но через мгновение снова залились пронзительным визгом и свистом у входа в пещеру, побежали вглубь ее, будя в ней стоны и вопли...

— Тулу-у-ук! Тулу-у-ук!.. — раздались отчаянные крики, и Мезгирию почудилось, что из черного мрака пещеры глядит на него широкое посиневшее лицо задушенного бурята с обезумевшими от страха глазами и с кровавой пеной на губах.

Мезгирь закричал и выбежал из пещеры. Ужас и какая-то щемящая тоска гнали его в глубокий мрак ночи, окутав-

шей таинственные и дикие ущелья Хабар-Дагана. По-прежнему бесновался ветер, крутил твердый, колючий снег и вскидывал камни и осколки льдин.

Проблуждав ощупью всю ночь, Мезгирь не нашел места, где оставил свою добычу и собаку.

Когда начало светать, охотник понял, что заблудился.

Снег скрывал от него озеро и знакомые сопки, слепил глаза и больно хлестал по лицу и рукам.

Бросаясь то вправо, то влево, поднимаясь выше или скользя вниз, — Мезгирь окончательно запутался.

Он долго и пронзительно свистел, заложив два пальца в рот, как свистят, перекликаясь по ночам в глухой тайге, бродяжки-беглые, кричал и звал Шайтана, но его голос терялся среди завываний ветра и шороха несущегося снега.

Так прошел опять день и настала ночь.

Мезгирь провел ее, укрывшись между двух камней, почти сросшихся своими вершинами.

Глаза охотника слипались, но спал он коротко и тревожно, а мучительная сосущая тоска не давала ему собраться с мыслями.

При первых отблесках рассвета начала утихать пурга, и скоро перед глазами Мезгиря открылся голубой, переливающийся серебристою рябью Байкал и, извиваясь змеей, уходила в даль гряда снежных гор.

Охотник сразу понял, где он находится, и начал быстро и уверенно подниматься, направляясь в сторону одинокой снежной сопки с тупой вершиной.

К полудню Мезгирь был близко от того места, где оставил Шайтана.

Он призывно свистнул, но никто ему не ответил, и эта тишина показалась страшной Мезгирю.

Он бежал скалу, нависшую над небольшим углублением, и остановился, пронзительно крикнув, как пораженный ножом.

Шайтан, оцетинившись и глухо ворча, рвал мясо на боку тура.

Голова козла была откинута назад, и из перерванного горла уже не текла кровь, застывшая черным пятном на

твердом снегу...

Мезгирь вскинул ружье и выстрелил.

Эхо побежало по пустынным горам, прячась в ущельях и стремительно мчась по вершинам, то громко смеясь, то рокоча, как утихающий гром, то трубя в звучные, тревожные рожки.

Мезгирь не видел, как Шайтан привскочил и ткнулся кровавой мордой в снег и как начал извиваться, хрипя и беспомощно царапая камни судорожно бьющимися лапами.

Охотник бросился на землю и долго лежал неподвижно, тяжело и глухо рыдая.

Потом поднялся, бледный и страшный, молча зарядил ружье и, зажав его между коленями, вставил дуло в рот.

И опять по дикому Хабар-Дагану долго носилось гулкое эхо и умирало в глубоких падах, не выдав тайны людям...

ТЕНИ НЕДАВНЕГО

Тихо шевелилась густая, сочная трава, хотя ни один порыв ветра не залетал в лесную чащу.

Молчаливо стояли оплетенные диким виноградом старые дубы и ильмы, в листве которых дремали птицы, утомленные зноем июльского дня.

Его спина мелькала среди кустов и порой пропадала в густых зарослях. Тигр вышел на еле заметную тропинку и остановился, высоко подняв круглую голову.

Потянув со свистом воздух, он припал к земле и скрылся в траве, залегши за густыми кустами орешника в нескольких шагах от тропинки.

Скоро послышался свист и голоса людей.

Впереди шел высокий, худощавый старик с сухим страдальческим лицом.

Он шел, согнувшись под тяжелой котомкой, привязанной к спине скрещающимися на груди ремнями.

Несмотря на тяжесть, он шел быстро и по временам перекидывал с плеча на плечо винтовку, зорко поглядывая по сторонам.

— Недавно, видно, партия прошла! — сказал он, обращаясь к своему спутнику.

— Дня два, не больше, как трава умята, — заметил тот. — Почитай, к ночи догоним инженера. Налегке ведь идем! Только жарко уж больно!..

Говоривший это громко засмеялся и поправил серый парусиновый мешок на спине.

Это был молодой парень с добродушным, беззаботным лицом. Он казался невысокого роста, который скрадывался необыкновенно широкими плечами.

— Слушай, дядя Александра, — спросил парень, — а этот инженер удачливый?

— Сколько я с инженерскими партиями за золотом ни хаживал, а такого фартливого, как Петр Иванович, не видел! — ответил Александр и молча еще быстрее зашагал.

Парень оглянулся и свистнул.

— Шарик куда-то провалился, — сказал он, — давеча следы кабаньи на болоте приметил. Уж не увязался ли за

ними?

— А ты бы, Митька, посвистел... Кабы собака не пропала! — наставительно произнес старик и посмотрел через плечо на молодого.

Митька остановился и, вложив два пальца в рот, пронзительно свистнул несколько раз и зашагал дальше, догоняя старика.

Вскоре они прошли возле кустов, где притаился тигр.

Он их видел. Его прозрачные, желтые глаза следили за ними, и, прижав к голове уши, тигр скалил зубы и тихо шипел.

Люди прошли и скрылись в обрыве с журчащим на его дне ручьем.

На тропинке послышался шум и громкий лай.

Отставший Шарик, черная, лохматая дворняга, высунув мокрый язык, догоняла людей.

Не успела она поравняться с засадой тигра, как он выскользнул из травы, могучим ударом лапы убил собаку и, схватив ее зубами, одним прыжком перескочил через кусты и скрылся в чаще.

Старик Александр в это время успел подняться на другой склон оврага и, стоя наверху, оглянулся на Митьку, который, скользя по свежей, сочной траве, с трудом взбирался по крутому обрыву.

Оглянувшись, Александр заметил, как в воздухе мелькнуло полосатое тело тигра.

— Тигр! Тигр! — закричал он, хватаясь за ружье. — Уж не Шарик ли ему попался в лапы?

Они вернулись, осмотрели тропинку и заметили несколько капель крови на траве и огромные отпечатки лап тигра рядом с собачьими следами.

— Пропал Шарик! — проговорил старик. — Сегодня, если догоним партию, отпросимся у инженера и найдем тигра. Шкуру и зубы манзы* покупают летом по хорошей цене... Лекарство делают...

* Китайцы.

— Отпросимся! — согласился Митька. — Ежели до зари уйдем, так до вечера, гляди, и выследим. Он тут, на свободе, видно, кружит недалеко.

Через несколько минут оба спутника, перейдя овраг, пробирались по заросшей тропинке, увязая в мягкой болотистой почве и цепляясь за ветви кустов и за шипы колючих растений.

* * *

Дядя Александр, или Гордец, как его называли в селах Уссурийского края, появился в тайге* неожиданно.

Кто он был и откуда? — этих вопросов никогда не задают таежные жители, но они чутьем угадали, что старик Гордец — человек бывалый, выдавший виды.

Он то появлялся в богатых селах и жил в них по целым неделям, водил компанию со стариками и до поздней ночи засиживаясь в кабаке, то надолго исчезал.

Когда он возвращался, то все замечали, что лицо Гордеца было еще более мрачным и холоднее смотрели его непроницаемые глаза.

Приход «дяди Александры» в деревню ранней весной предвещал прибытие приисковой партии, которую в погоне за золотом вел какой-нибудь инженер или штейгер, руководствуясь не столько наукой, сколько указаниями Гордеца, опытного таежного бродяги.

Во время одного из зимних отдыхов в селе Камень-Рыболов, расположенном на берегу огромного, кишящего рыбой и черепахами озера Ханка, Гордец познакомился с Митькой.

Случилось это совершенно неожиданно.

Гордец поздней осенью пришел в Камень-Рыболов, где жил знакомый урядник, и где, следовательно, никто не стал бы тревожить «дядю Александру» требованием паспорта и

* Лес.

прочей бумажной дребедени, к которой старый таежник питал глубокую ненависть.

По утрам дул сильный тайфун* и высоко нес с собой тучи песка, окрасившего небо в грязно-желтый, неприветливый цвет. Холодные утренники прибили траву, и сухая, бурая, она жестко шуршала, когда ветер зло рвал ее и пригибал к земле.

По озеру ходили белые барашки, и свинцово-серая вода глухо шумела, разбиваясь о высокий каменный мыс и взбегая на отлогие берега, где ютились избушки местных переселенцев-бобылей.

Последний почтовый пароход давно уже поднялся от Ханки вверх по Сунгаче, и по утрам у берегов белелись тонкие, звонко ломающиеся корки льда, тающего к полдню.

Прибыв в село, Гордец расположился на зимовку в избе Гриценки, на самом выезде из Камня-Рыболова.

Чуть ли не сразу за убогой, покрытой черной соломой хатой почти нищего Гриценки начинались болота, прилегающие к Ханке.

Эти болота тянулись на сотни верст, переходили за Сунгачу и оканчивались где-то на китайской «стороне».

Здесь, среди камышей, осоки, ив и тальника, под защитой трясин, бесчисленных речек и протоков, в густых тростниках, окружающих озера, разбросанные по всей огромной площади болот, питающих Ханку, ютилось много бродячего люда.

Днем никто не видел дыма костров или черных фигур таинственных обитателей трясин, среди которых, подобно драгоценному зеркалу, сверкало сливающееся с небом огромное, некогда священное у китайцев озеро Ханка.

Зато ночью в разных местах равнины блестели яркие огни.

Около них копошились люди и иногда, веселя свою мятежную душу, они пускали «пал».

Внезапно вскидывался вверх высокий столб огня и, упав, низко стлался по верхушкам камышей и трав и баг-

* Свиристующий осенью и весной сильный ветер.

ряной зубчатой полоской, волнуясь и переливаясь, пробирался вперед.

Огонь жадно пожирал сухой тростник и жесткую осоку и бежал по необозримой пустыне болот, то угасая, как бы пропадая в трясине, то вдруг взвиваясь со злобным свистом и шипением, схватывая в свои пламенные объятия и кружа забытый стог сена.

Когда пришел в Камень-Рыболов Гордец, — тайфун бушевал на Ханке и болотах и с ревом мчался, унося с собой песок, ковыль, перекасти-поле и подхваченные с озера брызги белой, шипящей пены.

По утрам и на вечерней заре, борясь с ветром, неслись к югу стаи диких гусей и журавлей, печально курлыкая и глухо призывно гогоча.

С озер и проток, скрываемых камышом и кустами, то и дело срывались табунки диких уток и со свистом и криком рассекали воздух, сбиваясь для отлета в большие стаи, ночующие на Ханке.

Иногда высоко, под самыми облаками, ярко сверкая белыми перьями и вытянув вперед длинные шеи, неслись, мерно шевеля крыльями, лебеди.

Гордец вставал рано и, захватив с собой мешок и ружье, уходил на болота.

Он садился на кочку на берегу совсем круглого озера и, скрытый осокой и молодым ивняком, наблюдал, ни о чем не думая.

Это озерко было любимым местом дневки для диких уток.

Целые стада их, различных пород, прилетали сюда и, плавая табунками, наполняли воздух немолчным криком и свистом.

Птицы сбивались в стаи, чинно и мирно плавали, слегка покачиваясь на гребешках волн и перекидываясь короткими, хриплыми криками, будто совещаюсь или вспоминая о чем-то очень важном.

Иногда утки начинали беспокойно оглядываться и вертеть головками, а затем шумно ударяли крыльями по воде, снимались и неслись на другое озеро, стремглав падая в

густые камыши и, вновь взмывая вверх, долго кружились над болотами. Порой утки внезапно ныряли, и тогда на поверхности воды расходились тревожные круги и слышался жалобный крик повисшего высоко над озером ястреба.

Лишь поздно вечером, когда солнце пряталось за далекими холмами и густые сумерки окутывали всю местность, Гордец, вспоминал о ружье и заряжал его.

Налетала стая гусей. Они, широко и неуклюже размахивая крыльями и выставя вперед серебристую грудь, спустились на озеро.

Глухо звучал выстрел, и грузно падала в траву большая птица.

Отыскав ее, охотник медленным шагом направлялся к селу.

В окнах светились уже огни и на дворах лаяли собаки, чуя лисиц и волков, рыскающих по болоту.

Однажды, выйдя на охоту, Гордец забрел далеко.

Он собрался уже развести костер и заночевать около стога, стоявшего на сухом пригорке, как вдруг заметил вспыхивающий в кустах огонь.

Гордец направился к нему.

На берегу небольшой протоки, среди густых зарослей, потрескивал костер, над которым висел черный дымящийся котелок.

Темная, широкая фигура человека двигалась возле огня и порой совсем закрывала его. Лаяла невидимая в темноте собака.

— Можно погреться у тебя? — крикнул охотник.

— Можно! — ответил молодой, веселый голос. — Только напрямки не ходи — трясина больно вязкая. Держи на камень — вот туда!

Через несколько минут Гордец подходил уже к костру, встреченный неистовым лаем черного, лохматого пса.

— Шарик, цыц! — окликнул собаку человек у костра, и из темноты, освещенное красноватым отблеском огня, выглянуло на Гордеца скуластое, добродушное лицо беззаботно улыбавшегося парня.

Перекинувшись несколькими словами, новые знакомцы вскоре уже хлебали уху, а Гордец, развалившись на сене и громко зевая, говорил:

— В котомке, Митька, там чаю щепотка есть и малость сахара... Сваргань кипятку!

Такова была встреча Гордеца с Митькой, а потом они почти никогда не расставались.

Вернувшись вместе на другой день в Камень-Рыболов и запасшись провизией, охотники, захватив ружья, исчезли на рассвете. Вернулись они только под самое Рождество.

Старик остался в селе, а Митька уехал на подводе в станицу Михайловскую и дальше по железной дороге во Владивосток.

Вернулся он скоро, привез целый ящик всяких припасов и одежды и с той поры до весны не уезжал никуда из Камня-Рыболова, почти не выходя из хаты глухого Гриценки и тихим голосом рассказывая что-то Гордецу, молчаливо слушавшему его.

* * *

Гордец и Митька с трудом пробирались через кусты, стараясь догнать партию инженера.

Луна ярко светила. Ее бледный блеск проглядывал сквозь листву деревьев и серебряными пятнами ложился на траву, не разгоняя притаившегося внизу мрака.

В густой тени, бросаемой листвою и стволами деревьев, лишь опытный глаз старого таежника мог различить следы проходивших здесь недавно людей.

Примятая трава чуть заметно искрилась, и ноги чувствовали неровности почвы, изрытой следами лошадей и тяжелых солдатских сапог.

— Слышь-ка, дядя Александра! — воскликнул вдруг Митька. — Говор слышу.

Они остановились и в хоре цыкающих, звенящих и пошвистывающих насекомых различили доносившиеся изда-

ли звуки человеческих голосов.

— Видно, лагерь близко, — сказал старик, выпрямляясь, — шагай, Митька, шибче!

Через полчаса, подойдя к глубокому оврагу, они увидели на дне его огни и слышали оживленные голоса людей, устраивающихся на биваке.

При свете костров солдаты рубили кусты и деревья и ставили палатки, наскоро окапывая их канавками.

Тут же на большом костре дымился уже большой чугунный котел и распространялся запах похлебки.

Гордец и Митька вошли в лагерь.

— А, дядя Александр! — радостно приветствовал старика молодой горный инженер. — Да и не один! Здравствуй-те! Еще «следопыта» привел.

— Так точно, Петр Иванович! — ответил, снимая шапку, Гордец. — Это тот Митька-охотник, о котором я вам рассказывал. Он тайгу знает. Годов пять мы с ним вместе золото «следим»*.

Митька молчал и только скалил зубы, и, сняв шапку, добродушно смеялся и беззаботно поглядывал на инженера своими веселыми глазами.

После ужина Гордец подошел к инженеру и сказал, что место для лагеря выбрано удачно и что отсюда следует начинать разведочные работы.

— Из оврага речка пойдет по болотине, а потом начнет извиваться промеж гор, — говорил старик, — а эти горы — сплошь россыпь. Манзы в старые годы шибко много здесь золота добывали, а потом, как пришли сюда японцы и свое в здешних местах княжество основали, бросили, и какие за Ханку подались, а какие за Хубту ушли, на корейскую сторону.

— Откуда ты все это знаешь, дядя Александр? — спросил инженер.

— Китаец один знакомый, богатый купец, рассказывал, — ответил Гордец, — сам знаю, что правду он мне говорил. Я видел тут недалеко, верст, этак, с сорок в сторону, на горе

* Искать золото.

Танюнгоу, старинную японскую крепость... Древние стены остались из глины и камня... Развалились стены наполовину, развалилась башня... Только стена от башни осталась и на ней буквы высечены на камне... Японская та крепость, а когда она была выстроена, — про то никто не знает.

Манзы говорят, что ей больше тысячи лет... Ну, да сами увидите, Петр Иванович, эту крепость. Мимо разведкой пойдем. А завтра с утра зачнете здесь шурфовать. Когда вернусь, — дальше пойдем, ежели в овраге богатого золота не найдете...

— Разве ты собираешься уходить? — спросил инженер.

— У нас сегодня тигр Шарика унес. Хотим по следу пойти и шкуру добыть. Отпустите, Петр Иванович! Дня два, не больше проваландаемся по тайге.

В голосе Гордеца были свойственные свободным людям ноты, не допускающие отказа, и инженер согласился отпустить охотников на два дня.

* * *

Еще не всходило солнце. Однако приближение зари чувствовалось. Небо сделалось серым. Утренние белые облака плыли в вышине, постепенно тая.

Ветерок шевелил листву леса, и раздавались уже голоса просыпающихся птиц.

Пронзительно вскрикнул коршун, и неслышно пронеслась сова, прячась в чащу.

В это время к группе спящих около костра людей подошел высокий человек с мешком и ружьем за плечами.

Это был Гордец. Он нагнулся и тронул кого-то рукой.

Тот потянулся, громко зевнул и сразу сел.

— Митька! — тихо сказал старик. — Бери винтовку, да и пойдем. Самое время.

Митька взглянул на небо, на деревья и встал.

— Верно, дядя Александра, — самое время! — сказал он. — Того и гляди, на логове найдем тигра-то.

Поплескавшись около ручья и широко покрестившись на алевший уже восток, Митька схватил ружье, перекинул через плечо свой мешок и зашагал за Гордецом.

Старик спокойно шел, не говоря ни слова и пристально осматривая траву. Скоро они нашли следы тигра и, то теряя их, то находя их снова, пробивались через густой кустарник и высокую, колючую таежную траву.

Порой они останавливались. Перед ними вырастала живая стена из кустов орешника и молодого дубняка, сплошь обвитого густой сетью ползучих растений, которые гирляндами спускались с высоких деревьев и висели в воздухе, образуя причудливые арки.

Часто охотники проваливались по пояс в густой валежник и с трудом выбирались из него.

Пахло прелым, гнилым деревом, истлевшей травой, плесенью и грибами, а земля дышала паром и чем-то раздражающим, пряным.

Огромные пауки-крестовики, стерегущие добычу, притаившись в центре своих сетей, неловко и пугливо падали на шапки и плечи охотников и сначала притворялись мертвыми, а потом, быстро перебирая цепкими лапами, бежали по платью и торопливо спускались с него вниз, висая на паутине.

Жужжали мухи и гудели большие, рыжие комары, больно жаля людей.

Птиц не было. Только изредка мелькали кречеты и кобчики, зорко высматривая бурундуков, мышей и кротов.

К полдню охотники утомились.

Вдали редел лес и виднелось голубое небо.

— Речка скоро будет, — сказал Митька, — есть тут такая. На ней, малость повыше, кумирня стоит.

— Привал на речке сделаем, — проговорил Гордец, — солнце уж высоко, а идти трудно.

— За речкой полегчает, — успокоил его Митька, — там болотина будет большущая, да не дюже вязкая. Туда и тигр подался: следы напрямки туда ведут.

Парень принялся рассматривать свежие следы с ясными отпечатками огромных когтей.

Скоро они вышли на опушку тайги и спустились к воде.

Быстрый горный поток мчался с шумом, прыгая по сильно изрытым водой камням и скрываясь в узком, извилистом ущелье среди двух низко нависших над водой скал.

Берег был сух и покрыт мелкими камнями, осыпающимися с высокого берега, на котором темной стеной стояла молчаливая тайга.

Гордец внимательно осматривал берег.

Среди простых камней он нашел несколько обломков прозрачных горных хрусталей, сердоликов и топазов.

— Важная россыпь! — с восхищением воскликнул старый таежник. — Вот где пошурфовать бы! За золотишко пошурфовать можно!

— Тише ты... черт... — схватывая за руку старика, прошептал Митька, чутко прислушиваясь.

Он поднялся на склон обрыва и внимательно смотрел на пологий противоположный берег, где по высокой траве ходили серебристые волны, нагоняемые легким ветерком.

— Пойдем скорей в тайгу, — тихим голосом позвал он Гордеца. — Дело почище тигра будет. Гляди — пофартит...*

Не прошло минуты, как берег был по-прежнему пустыннен, и ничто не выдавало присутствия двух людей, спрятавшихся в густой траве у самого края обрыва. Скоро издалека донеслись звуки заунывной, тягучей песни.

— «Белые лебеди»!** — весело шепнул Митька, оглядывая берданку.

— Да ну? — удивился Гордец, тихо звякнув затвором ружья. — Будто рано?.. По осени они тянут с приисков...

— Бродячие все лето тянут. Женьшеньчики это, должно быть, — пояснил Митька, высовывая голову из кустов. — Так и есть! Женьшеньчики...***

* Повезет.

** Так называют корейцев, одевающихся всегда во все белое.

*** Искатели женьшеня, редкого лекарственного корня, ценящегося в Китае и Корее на вес золота.

На зеленой равнине ясно были видны две белые фигуры. Они медленно подвигались, неся на головах какую-то ношу.

Вскоре охотники могли уже различить двух корейцев, одетых в обычные белые шаровары и курмы*.

Корейцы шли, подпираясь длинными палками и придерживая на голове тяжелые плетеные корзины. На шее у них висело по несколько наполненных чем-то пузырей, которые мотались из стороны в сторону и замедляли движение.

— Готов? — спросил Митька, взглянув на старика. — Я заднего лебедя возьму, а ты свали переднего.

Гордец молча кивнул головой и прицелился.

Корейцы дошли до речки и начали медленно переходить ее вброд, сильно подпираясь палками и с трудом сопротивляясь напору быстро мчавшейся воды.

Выйдя на каменистый берег, они сняли ношу и начали располагаться на отдых. Составив рядом корзины и сложив около них пузыри, топор и лопатки, корейцы тут же присели, опустившись на корточки.

Закурив длинные трубки, они затянули песню и, пуская клубы дыма в такт песни, раскачивались, сохраняя неподвижное, спокойное выражение лиц.

— Белые лебеди распелись! — тихо засмеялся Митька, поднимая ружье. — С Богом, дядя Александра!

Два выстрела, прозвучав почти одновременно, долгим эхом носились по тайге и вдоль гулкого каменистого русла горного потока.

Корейцы сразу замолкли и, качнувшись, ткнулись лицом в землю и больше не шевелились.

Охотники бросились к ним. Они были мертвы. С их затылков бежали тонкие струйки крови и тотчас же впитывались в туго закрученные узлом жесткие, черные волосы.

— Я их сплавлю, — утрюмо проговорил Гордец, — а ты глянь, что у них там такое....

* Кофта на вате, которую зимой и летом носят корейцы.

— Ладно! — ответил Митька и своей беззаботной походкой подошел к корзинам.

Пока Митька развязывал пузыри и разбираал корзины, старик обшарил убитых, сволок их к узкому ущелью, где поток рвался и бушевал, разбиваясь о камни, и столкнул в воду.

«Белые лебеди» нырнули на мгновение под пенящуюся поверхность воды, потом опять показались, завертелись в водовороте, мягко, но сильно ударились о черные изъеденные камни, мелькнули на изгибе ущелья и скрылись.

Гордец вернулся к Митьке.

Тот весело смеялся.

— Подфартило нам сегодня! — воскликнул он. — Одних женшеней в пузырях штук сорок нашел. Есть еще волчецовый корень, — за него манзы лихо платят! Да еще две кишки золота наскребли где-то «лебеди» — фунта на три потянут!..

— Здорово подфартило! — радостно вскинув глаза на Митьку, проговорил старик. — Это и впрямь почище тигра будет!

Приятели принялись за дело. Они опустили пузыри с драгоценными корнями в воду; кишки, сшитые из кожи дикой козы, Гордец обмотал вокруг себя; топорик и лопатки корейцев бросили в речку, а корзины сожгли вместе со всякой рухлядью, которую носят с собой китайские и корейские охотники за женшенем.

— Следы все замели! Чисто сработано, как тогда на Хан-ке... Помнишь, дядя? — заметил, потягиваясь, Митька.

— Ничего — ладно! — похвалил Гордец. — А как теперь с корнем быть? Нести в лагерь — нельзя. Приметят, да и испортиться может.

Митька долго думал.

— А вот что, дядя Александра! — сказал он наконец. — Сейчас мы сошьем один большой пузырь, сложим в него все корешки, а я с ними пойду к старому Тун Ли. Недалече, почитай, отсюда до фанзы* китайца?

* Изба.

Гордец, подумав немного, ответил:

— Верст с полсотни будет. Путь трудный... Однако, завтра к вечеру будешь.

— Вот и ладно! — воскликнул Митька. — Я и подамся к Тун Ли. Он меня свезет в бухту к рыбакам. С ними на шаланде* я во Владивосток пойду.

— Воротишься, али меня во Владивостоке ждать будешь? — спросил старик.

— Ворочусь. Коли все по речке пойдете до старой крепости, так найду. А золотишко ты с собой, дядя Александр, носи. Потом расторгнемся и поделимся, как всегда.

Говоря это, Митька изготовлял большой пузырь из нескольких меньших. В его котомке нашлись иголки, шило и нитки, крепкие, как струны. Когда все было готово, он поднялся и сказал:

— Пора! Солнце садиться стало. Всю ночь пойду, чтоб до перевала к утру дойти. Там уж гладь вплоть до Чингаузы, только трава больно цепкая. Инженеру, дядя, скажи, что за тигром, мол, парень ударился.

— Прощай, Митька! Ворочайся скорее! — крикнул старик.

— Прощай! — ответил Митька, проходя вброд речку. — Ворочусь, только ты, как с партией будешь идти, зарубки на деревьях делай для приметы.

Скоро широкая фигура Митьки исчезла в кустах.

Оставшись один, Гордец искупался, потом начал осматривать обсыпавшийся берега и опытным глазом искал примет золота.

Смеркалось. Старик стал разводить костер, чтобы переночевать и на утро двинуться за партией инженера.

Стемнело совсем. На небе мерцали звезды, далекие и неяркие. Плыл месяц, ясный и холодный. Тихо шумела, будто шептала о чем-то тайном, тайга и бурлил в ущелье поток, всплескивая на камнях.

Гордец жевал хлеб с салом и, лежа на армяке лицом вниз, смотрел в землю. Насытившись, он встал, подошел к речке, зачерпнул в пригоршни воду, напился и снова лег.

* Шаланда — парусная шхуна.

Руки его перебирали валявшиеся кругом камни.

Старик брал в руки круглые и продолговатые камешки и любовно смотрел сквозь них на огонь костра.

Здесь были дымчатые, лиловые, зеленоватые и красноватые камешки, попадались прозрачные и молочно-белые, и Гордец с какой-то нежностью разглядывал и бережно клал их обратно на землю.

Он потянулся подальше, и рука его нащупала большой камень.

Старик приблизил его к огню и вздрогнул от удивления.

Большой кусок белоснежного кварца имел углубление совершенно правильной формы.

Не было сомнения, что камень был расколот надвое и что внутри его заключался какой-то правильный кристалл.

Гордец встал на колени и начал искать вторую половину странного камня.

Он вытащил из костра горящую ветвь и стал светить себе, низко пригнувшись к земле.

Мысль его усиленно работала.

Кварц или что-то похожее на кварц, а внутри был такой правильный кристалл.

Что бы это могло быть?

И старый таежный бродяга старался вспомнить все то, чему научили его инженеры и практики-золотопромышленники.

— Неужели алмаз? — вслух спросил самого себя Гордец и даже испугался. — Ну и большущий же он! Вот где счастье- то привалило!..

И с удвоенным старанием старик ползал по земле и, ощупывая каждый камень, внимательно осматривал его и сличал с найденным куском.

Но поиски были тщетны. Старик волновался.

Пот выступил на лбу Гордеца, и жилы вздулись на его шее.

Наконец он в изнеможении и почти в отчаянии опустил-ся у костра.

— Алмаз... алмаз! — стонал он, тяжело переводя дух. — Эх! Зачем я Митьку отпустил! Он — зоркий... нашел бы...

И вдруг Гордец встал и задумался.

Его суровое, исстрадавшееся лицо покрылось бледностью. Угрюмые глаза потемнели.

Руки судорожно хватались за голову. Порывисто дышала грудь.

— Митька... — шепнул старик... — Митька... Вот оно что!..

Старик быстро зашагал к тому месту, откуда они стреляли в корейцев.

Остановившись здесь, среди кустов, из-за которых на него мрачно смотрела ночь, Гордец задрожал.

Костер, ярко блестящий внизу и отражавшийся в реке, горел там, где сидели убитые корейцы.

— Вот оно что... — угрюмо повторил старик и вдруг заторопился.

Он почти бегом спустился по крутому склону берега и начал собирать свой мешок.

Губы Гордеца пересохли и как-то стянулись, обнажая ровные, стертые от времени, но крепкие зубы.

— Митька! Митька! — повторял старик. — Нашел у корейцев в корзине. Пустую половину бросил, а которая с алмазом, ту забрал, да и убежал с нею!..

С этими словами он вскинул на спину котомку, вложил в винтовку патрон и, быстро перейдя речку, зашагал по болотистому, гулко чавкающему под его ногами, берегу, вслед за Митькой.

Пять лет знал Митьку старый таежник, делил с ним все невзгоды полубродяжьей, полуразбойничьей жизни, и ни разу Митька не обманул его.

Отнятые у китайцев золото и панты*, добычу от «белых лебедей», убитого тигра или оленя — все делили между собой поровну и копили деньги.

Для чего — этого они не знали. Будущего у них, безродных и, вероятно, преследуемых законом, не было. Накопленными деньгами они не пользовались.

* Панты — весенние рога оленей, ценящиеся как целебное средство на всем азиатском Востоке.

Тайга, бродячая жизнь и короткие зимовки в селах требовали очень немногого, и деньги этих людей лежали припрятанными где-нибудь в укромном месте, известном только им одним.

И вдруг подозрение, острое и мучительное подозрение, граничащее с уверенностью, охватило Гордеца.

Он быстро шагал по болоту и порой шептал, тревожно поглядывая вперед:

— Ну, скажи — нашел такое богатство, о каком и не слыхивали, да и дели, как раньше делил! А не кради у товарища. Ведь за такой алмаз оба мы людьми бы сделались! Обоим бы хватило... А тут, на тебе! Взял и убежал... Пряткий!.. Корешки, мол, продавать...

И Гордец разразился тяжелыми осторожными проклятиями и по временам смеялся злым, лающим смехом.

Всю ночь на болотистом берегу речки чернелась высокая фигура старика.

Он быстро шел, бормоча что-то и крепко сжимая в холодных руках винтовку.

Гордец видел, как в густой траве блеснули две яркие точки и вдруг остановились.

Следил ли за ним потревоженный тигр или степной волк — об этом старый бродяга не заботился, но он смотрел на эти горящие в темноте глаза и шептал, как в бреду:

— Переливается... переливается разными огнями... алмаз! Алмаз... алмаз! — завопил он диким, надтреснутым голосом и пустился бежать.

Две горящие точки дрогнули, а потом начали быстро мелькать в траве и кустах и потухли.

Слышалось только чавканье болота и неясное, глухое бормотанье Гордеца.

— Украл алмаз... украл и убежал! — громко выкрикивал старик и, пугаясь своего голоса, шагал быстрее и быстрее, не теряя следов Митьки.

Поднялся ветер и дул ему прямо в лицо.

На горизонте собирались тяжелые, черные тучи и грозили дождем.

Но старик не видел туч, не замечал резкого ветра, ко-

торый сорвал с него шапку и, разметав, трепал его длинные седые волосы.

Блеснувшая при свете луны сталь винтовки напомнила старику сверкание алмаза и возбудила в нем прежнее злобное подозрение.

Алмаз, огромный, прозрачный алмаз, как наяву, плыл перед его лихорадочно блестящими глазами, прыгал и сверкал, дразня и маня старика.

— Какой «хрусталь»*, чистенький, ровный!... Камень самоцветный, так радугой и отливает! — шептал Гордец и с нежностью гладил холодный ствол ружья, безумно вперив глаза в темноту.

— Наваждение! — вздрагивая, шептал старик. — Митька! Отдай алмаз... поделим!

И в голосе Гордеца было столько же угрозы, сколько страстной мольбы.

Начинало светать, и более отчетливыми становились очертания тайги и гор.

Под ногами была уже твердая земля, и Гордец с трудом отыскивал следы проходившего здесь Митьки.

Первые лучи солнца, пробившись из-за туч, обагрили восток и начали золотить верхушки дубов и вязов, и вдруг старый бродяга остановился и, вскинув ружье, прицелился.

Под развесистым кустом орешника, между большими камнями, спал Митька, а рядом с ним лежала его ноша.

Утомленный ночным тяжелым переходом, Митька решил отдохнуть и выбрал это укромное место, где его мог заметить лишь зоркий глаз Гордеца.

— Получай пулю! — злорадно хихикнул старик, щуря левый глаз. — Не будешь товарищей обманывать!

Лицо Гордеца застыло в судороге. Челюсти были сжаты так сильно, что скрипели зубы, а около ушей выскочили и дрожали от напряжения огромные шишки мышц.

Вдруг старый бродяга опустил ружье и задумался.

* «Хрусталь» вместо кристалл.

«А как он запрятал алмаз где-нибудь по дороге? — молнией пронеслась мысль в голове Гордеца. — Что же? Так он и пропадет с ним? Надо поискать в котомке...»

Он отложил в сторону ружье, снял котомку и оглянулся.

В нескольких саженях от Митьки ярко сверкала розовая от солнечных лучей поверхность небольшого озера, почти сплошь покрытого зеленым ковром ряски и широких листьев кувшинок.

Из воды, будто моля о спасении, торчали черные голые ветви упавшего в озеро дерева.

Гордец лег на землю и тихо пополз в сторону спящего Митьки.

Добравшись до его тяжелого мешка, старик одним ударом ножа пропорол парусину и начал рыться.

Скоро, однако, он бросил нож на землю и отшвырнул от себя мешок, в котором не нашел того, что страстно искал. Лицо Гордеца побагровело, злобно сверкнули глаза, и он одним прыжком навалился на Митьку и впился в его горло судорожно сведенными пальцами.

Митька рванулся, почти поднялся, но опять опрокинулся, тщетно ловя воздух широко раскрытым ртом.

— Алмаз... давай... давай алмаз! — по-звериному глухо и яростно завывал Гордец. — Куда его запрятал? Отдавай... не то убью...

И старик сильнее сжимал горло Митьки и, нагнувшись к самому его лицу, заглядывал в его обезумевшие от сна и ужаса глаза.

И вдруг сознание блеснуло в налившихся кровью глазах Митьки. Он, сделав невероятное усилие, повернулся набок и, обхватив бродягу обеими руками, сдавил его и подмял под себя.

Два тела сбились в один подвижный ком.

Он то катился, то упруго подпрыгивал, то замирал на месте, и тогда только судорожно вздрагивал.

Порой этот страшный живой ком распадался, и тогда два длинных, упругих человеческих тела сплетались ногами и руками, скрежеща зубами и хрипя.

И вдруг Митька, напрягши все свои силы, поднялся, но вместе с ним встал на ноги и Гордец.

Посыпались тяжелые, убойные удары. Послышались стоны и зловещий хрюск.

— На корешки... позарился... каторжная душа! — прохрипел Митька и широко размахнулся.

Старик, ловко ускользнув от удара, неожиданным броском кинулся на Митьку и, схватив его поперек тела, упал навзничь.

— Куда девал ал... — успел только крикнуть Гордец.

А вслед за этим он и не удержавшийся на ногах Митька на одно мгновение зачернелись на зеленой поверхности озера. Нырнули ряски и круглые листья кувшинок, и невысокая, ленивая волна побежала от берега по стоячей воде.

Бьющиеся люди исчезли, и лишь только с немой мольбой и напряжением тянувшиеся к небу черные ветви утонувшего дерева дрожали и колыхались.

Но скоро и они успокоились. Вынырнули изумрудные ряски и блестящие листья кувшинок.

Прилетел кулик и, быстро перебегая с места на место по измятой и истоптанной траве, спокойно смотрел своими круглыми глазами и стонал заунывным, звонким голосом...

ГОРОД МУЖЧИН

Илл. Е. Нимича

ГОРОДЬ МУЖИНЫ



I

Таинственная тропа



В манджурскую тайгу, глухую, заросшую диким виноградом, гигантской повиликой и чапыжником, уходит от города Кайги едва заметная на каменистом грунте тропа.

И тропа эта широкая. Видно, немало ног прошло здесь и протоптало тайгу. Но редко-редко можно увидеть на ней одинокого пешехода или всадника на маленькой лохматой лошаденке.

В 1905 году я был в Кайге, и отсюда с проводником мы выехали на тропу и направились по ней.

— Куда дорога? — спросил я.

— Так... дорога, — неохотно ответил проводник и, вдруг решившись, сказал: — Много, много ли* к закату, когда

* Ли — около 1 версты.

пройдешь горы и два раза Дзунгари*, когда пробьешься через лес и оставишь сзади за собою кумирню Сай, будет город... Нехороший, очень нехороший, бедный, злой-злой город...

— Что ж, это хунхузский город, видно? — опять полюбопытствовал я.

Китаец задумался на мгновение.

— Есть там и хунхузы, да не потому он злой город...

— Так почему же?

— Видишь, капитан, — сказал проводник. — Нехорошо человеку жить, когда сегодня одно, и завтра то же, и через тридцать «тьен»** то же... А еще хуже, капитан, когда это случается без женщин. Женщина ведь, как птица... Она и гнездо вьет, и поет, и прыгает; и никто никогда не знает, что она сейчас сделает... Вот, с ней мужчине всегда весело.

— А в этом городе, что ли, женщин совсем нет? — удивился я.

Китаец помотал головой.

— Закона нет такого! Совсем нет женщин! Одни мужчины... Таких городов, капитан, у нас много, много... Сюда собираются все голодные мужчины, живут вместе и ждут вестей, ждут, пока их не позовут на работы в Шанхай, Баодинфу, Кобдо или Чифу.

— Чем же они питаются? — полюбопытствовал я.

— Всем, что попадется им под руку. А не то, так корой и травой, капитан, питаются эти люди. Плохой, бедный, злой город, — закончил проводник.

— Почему же злой?

— Закон очень злой, — вздохнул китаец. — Мало-мало худо сделал — сейчас палача зовут, а не то, и так помирает: придет ночью судья и убьет ножом или в воду и в чумизную кашу яда нальет — и конец!..

* Сунгари.

** 30 тьен — 30 дней.

Вот в этот город, город без названия, ехал я с проводником три дня.

II

Город землянок

Солнце заливало багровым светом лес и видневшееся сквозь чащу небо. Под сводом старых вязов и дубов стоял красный туман. Обогнув по тропе, почти совершенно заросшей кустами ольхи, отвесные склоны высокой горы, мы вдруг выехали на опушку.



Это случилось так внезапно, что я невольно закрыл глаза. Передо мной была красная, словно залитая кровью долина, а над ней нависло багровое пылающее небо.

Когда я пришел в себя от неожиданности и взглянул вниз, в долину, то увидел голые, изрытые склоны сопки, почти голую землю с видневшимися длинными, беспорядоч-

но раскинувшимися в разные стороны рядами черных, бесформенных куч глины и земли. Это были землянки. На улицах, покрытых лужами и черной грязью, бродили люди, изредка останавливаясь и, видимо, беседуя.

Глухое молчание царило в этом городе. Не долетали до нашего слуха ни визгливые окрики погонщиков мулов и лошадей, ни зазывания торговцев, ни гул голосов и песни толпы, обычно снующей по базару и улицам.

Когда мы въехали в город, из дверей на нас смотрели опухшие, сонные и больные лица.

— Куда же мы поедem? — спросил я.

Проводник пожал плечами и посмотрел на меня растерянным взглядом.

Я направил лошадь к ближайшей землянке и крикнул:

— Эге! Возьмите лошадей!

Из землянки выбежал молодой, красивый китаец и взял повод.

— Хочу отдохнуть у вас. Можно? — сказал я по-китайски.

— Можно, капитан, — ответил китаец, и лукавая усмешка пробежала по его лицу. — Не надо говорить по-китайски, трудно говорить по-китайски. Можно по-русски. Я — бой*, служил во Владивостоке, служил в Хабаровске и Харбине и говорю по-русски.

Привязав лошадь к косяку над низкой дверью, он вошел в землянку и оглянулся, приглашая нас. Мы с проводником вошли в темные сени, куда попадал свет только через узкую щель. Китаец открыл дверь и пропустил нас в жилое помещение. На лежанках, раскинувшись в разных позах, куря или играя в кости и карты, лежало около десятка китайцев.

В воздухе плыли сизые струн дыма опия и табака, и чувствовался тот сладкий, дурманный запах, которым всегда пропитаны китайские гостиницы и притоны на окраинах городов.

* Бой — слуга.

Бой, назвавший себя Юмен-Леном, сказал что-то своим товарищам. Они только молча кивнули головами.

III

Дни голода

Прошла ночь...

Да и успела ли она еще пройти? На теплой лежанке она показалась мне кошмарной. Меня ежеминутно будили крики, стоны, неясное бормотание китайцев, душили меня клубы дыма и какая-то слепая темнота, тяжелым камнем налегшая на мозг и душу.

Когда я протер глаза, я заметил, что мои соседи уже не спят. Они подняли головы и чутко слушали, часто раздувая тонкие ноздри. Было что-то звериное в их лицах и немножко скошенных глазах.

Один из китайцев тяжело вздохнул, опустил на циновку и что-то сказал.

И все тотчас же покорно легли, мрачно уставившись в потолок, где качались и трепетали длинные закоптелые нитки паутины.

Я наскоро оделся и вышел на улицу.

Какой-то стон шел из середины города и с каждым моим шагом усиливался.

Там, где все улицы сходились, была площадь. Посередине ее стоял низкий и толстый пень спиленного старого дуба. Он весь потемнел, и по нему шли до самой земли черные потоки.

Была ли это кровь или случайные полосы выступившей гнили, — этого я тогда не мог определить.

Вся площадь была запружена народом. Люди негромко разговаривали и этот говор казался рокотом морского прибоя. Все головы с тревожным любопытством вытягивались в сторону столба, и глаза загорались ожиданием.

Заметив неподалеку Юмен-Лена, я протискался к нему

и хотел было расспросить его о происходящем, но он вытянул вперед голову, и я увидел, как сразу оживилось и вспыхнуло его подвижное, худощавое лицо.

Я оглянулся и увидел возле первого столба пожилого, высокого китайца.

— Юмен-Лен, пожалуйста, рассказывайте мне, что будут говорить! — попросил я, прикоснувшись к плечу боя.

— Хорошо... хорошо! — отмахнулся он от меня и впился глазами в ставшего у столба китайца.

Тот поднял худые, черные руки к небу и глухим, но внятным голосом начал говорить:

— Пять дней и пять ночей шел я с семьей товарищами, выбранными вами, люди этого подделка. Ветер и дождь, туман и солнцепек терзали наши тела. Но мы шли — и не пугали нас ни тигры и барсы, ни даже ночные печальные тени, вестники скорой кончины. Путь наш был озарен светлой надеждой, что, как гласит предание, на пятый день пути мы должны встретить долину радости, где колосится ничьей рукой не сеянный рис и обсыпается тяжелое зерно высокого гаоляна. Но пришел и шестой день... На разных тропинках, о, горе нам! мы находили лишь белеющие кости людей, искавших раньше нас долину радости... Мы нашли это место, и... солгала сказка! Там, где сходились три реки и горы преграждали им путь, были набросаны обломки камней, а среди них мы видели листья женшеня и следы кабанов. Мы едва дошли назад, чтобы принести вам грустную весть, что не нашли мы пищи и радости, но мы честно исполнили то, для чего послали вы нас...

— Смерть ему!

— Смерть всем!

Эти два окрика раздались одновременно в разных концах площади, и никто не знал, чьи уста произнесли жестокий приговор.

Толпа замерла и молчаливо опустила глаза к земле. Это сборище людей превратилось в одно чудовище, жестокое, требующее крови за свои обманутые надежды.

Старый китаец и стоящие рядом с ним его товарищи упали на колени и, ударяясь руками и головами о землю,

вопили плачущими голосами.

Толпа молчала.

И трижды принимались молить ее приговоренные. Когда, после третьего раза, никто не произнес слова в защиту искавших долину радости, около них появился широкоплечий гигант. Он поднимал, как детей, с земли приговоренных и, бережно положив их грудью или спиной на срубленный пенёк, перерезал им одному за другим горло и кровью их залил черную кору и пропитал землю. Лица палача я не мог разглядеть; до самых почти глаз оно было обвязано черной материей, которой любят покрывать голову китайцы-солдаты.

Это был первый голодный день.

В городе не было муки и зерна.

Много людей пошли в лес, где искали грибов на тонких ножках, горьких и пахнущих плесенью, ловили лягушек и змей, рыли землю, ища корни и норы кротов. Одни отрубали молодые губки, росшие на дубах, другие — обдирали кору с маленьких ильмов и срезали зеленые побеги орешника.

В полдень в городе ели какую-то горячую зеленую похлебку, пахнувшую грибами и горечью дубового навара.

Еще более глубокое молчание залегло кругом, и только на площади над казненными громко кричали и бились хищные кровожадные птицы.

Ночью еще бессвязнее и страшнее были стоны и бормотания спящих вместе со мной в землянке китайцев.

Кто-то из них зарыдал сквозь сон и, проснувшись, продолжал плакать, тяжело всхлипывая и царапая себе лицо. Другой встал и подошел к нему. Он долго молча смотрел на него, потом начал шептать ему, склонясь над его лицом, а когда тот замолк, тихо вздыхая, ушел на свое место.

Наутро я увидел, как двое китайцев уносили третьего. Он был мертв. На шее, над ухом, виднелась маленькая, но глубокая рана и кровью пропиталась грязная белая куртка с черными пуговицами и шнурками.

Я пошел за уносившими тело китайцами.

По вырубленной и исковерканной заступами долине мы взобрались на голую сопку и, перевалив через нее, увидели глубокую котловину, на дне которой была вырыта шахта.

Люди, несшие труп, бросили его в черное отверстие шахты, и я долго не мог расслышать стука от падения тела на дно старого рудника.

А потом подошел к бросившим еще один китаец, о чем-то спросил их, пристально посмотрел на одного из них и подозвал его к краю шахты.

Он указал пальцем на черное жерло рудника и, топнув ногой, шепнул одно только слово. Китаец в ужасе откинулся назад и в глазах его появился безумный страх. Но длилось это всего одно мгновение, а в следующее, сшибленный с ног, он исчез в шахте.

Когда я вернулся в землянку и рассказал о случившемся Юмен-Лену, тот покачал головой и, оглянувшись, шепнул:

— Кровь за кровь! Жизнь за жизнь! Суд это...

— А кто у вас судит?— спросил я.

— Никто не знает! — шепнул опять бой. — Судьи и палачи являются сами и судят быстро и строго... Без суда ведь нельзя. Нужно народом править...

После этого дня голода потянулся целый ряд таких <же> страшных голодных дней.

Один только раз до улиц этого города пробежал человек с горящими глазами и растерзанной на груди рубашке.

Это случилось ночью.

Человек бежал и что-то кричал надорванным, иступленным голосом. В руке обезумевшего человека был коптящий факел, озарявший его вдохновенное лицо безумца багровым, трепетным светом.

— Люди! Три брата моих, мой отец умерли с голоду! — перевел мне его крик Юмен-Лен. — Никогда уже не увидят они своих семей и в прах распадется их род. Проклятая нужда загнала нас сюда. 40.000 голодных, отчаявшихся людей медленно погибают среди лесов и гор.

Их стерегут ночные тени и тянутся к ним жадными, кро-

вавыми ртами... Сожжем это гнездо несчастий и печали! Развеемся по ветру, как пыль! Скинем с себя тяжелую руку голода! Уйдем в города, где есть мука, зерно и мясо! Сожжем, сожжем город!



Но прежде, чем он добежал до следующего угла, из рук его выпал факел и погас; раздался короткий крик. Какая-то черная тень метнулась прочь, а другая, неподвижная и молчаливая, осталась лежать рядом с потухшим факелом.

IV

Гонец свободы

В разгар голодных и отравленных отчаянием дней, пришел ко мне незнакомый китаец и сказал мне:

— Капитан! Люди — голодны, многие уже умирают... Глубокая яма за горой доверху наполнилась погибшими.. Ночью ветер заносит сюда зловонный ядовитый воздух. Люди ропщут... Люди голодают... А у тебя, капитан, есть лошадь... Отдай ее тем, кто уже встал на последней грани... Отдай!..

Я знал, что вокруг 40.000 голодных, и я один белый, неважистый человек, чувствовал себя совершенно незащищенным в этом море. Я отдал лошадь, и с той поры от ближайшего города меня отделяли семь дней тяжелой дороги.

Однажды я бродил по лесу и услышал крики радости. Они неслись с противоположной стороны города. Я поспешил в город и увидел нескольких всадников в остроконечных соломенных шляпах, низко надвинутых на лица. Они тотчас же свернули в одну из узких улиц и только двое проехали на площадь, где тотчас же начались собираться люди.

Это были наниматели. Они прибыли из-под далекого Нанкина, где строились новые дороги и рылись каналы. Им нужно было семь тысяч здоровых рабочих, людей, знакомых с работами и понимающих чертежи.

Несколько выючных лошадей пришло с приезжими, а их выюки разместили в землянке, где устроились наниматели.

В ту же ночь произошли новые и тревожные события. Уже все в нашей землянке улеглись, и в воздухе протянулись извилистые нити опиума, озаренные снизу слабым желтым огнем лампочек курильщиков, как вдруг кто-то сильно постучал в плетеную из прутьев дверь.

Один из молодых китайцев встал и вышел на улицу. Вернувшись, он шепотом долго рассказывал что-то своему

соседу, тот передал это дальше и не прошло и получаса, как китайцы начали куда-то снаряжаться. Они вытащили из щелей в стене и из-под лежанок какие-то маленькие сверточки и глубоко запрятали их за пазуху. Вслед за ними туда же были засунуты короткие ножи и коробки с опиумом, и к поясам привязаны кисеты с табаком и черные с каменными мундштуками «янь-тай»*.

Я лежал, не двигаясь, и зорко следил за моими сожителями.

Подозрительно взглянув на меня, они погасили лампочки и на цыпочках, согнувшись, быстро стали выходить один за другим, и в темноте почти не слышно было их кошащих, крадущихся патов.

— Капитан! — донесся до меня шепот. — Капитан...

— Это ты, Юмен-Лен? — спросил я как можно тише. Бой, не отвечая, подполз ко мне и улегся рядом. Потом тихо поднялся, неслышно зажег светильню, опущенную в черепок с бобовым маслом, и внимательно и осторожно осмотрел всю землянку. Потом он соскользнул на землю, пробрался в сени и долго слушал там и сквозь щели следил за ушедшими.

— Цхао! Ы-тай-дзань! Бо-фы! — сжимая кулаки, ругался он и со злобой топал ногами, бил себя в грудь и хватался за голову. — Беда, капитан, беда!

Он ничего не хотел мне объяснить и только спросил, есть ли у меня револьвер. Получив утвердительный ответ, упрямо кивнув головой и зажав пальцами светильню, умолк.

Немного осталось до зари, когда услышали мы песни и громкие голоса возвращающихся. Они ввалились в сени, переругиваясь и шумно смеясь, долго возились там, высекая огонь и разжигая в ночи сухую траву и валежник. Когда сквозь щели стены виден был багровый отсвет огня, открылась дверь, и китайцы один за другим начали входить.

Они были пьяны, сильно качались на ногах и размахивали руками, смеясь и возбужденно рассказывая о чем-то и перебивая друг друга.

* Трубки.

— Капитан! Эге, капитан! — крикнул, наклонившись надо мной и дыша мне в лицо винным паром, один из китайцев, тоже, как и Юмен-Лен, говоривший по-русски. — Эге!

— Уйди! — сказал ему Юмен-Лен и сразу сел на нарах. — Уйди, Ли, уйди, пока есть время! Помни, что есть судья в городе...

В голосе его звучала холодная угроза, но пьяный Ли замахнулся на него и, опять обращаясь ко мне, заговорил:

— Капитан! Я служил боем у русского капитана... Хе-хе-хе! Хороший был капитан! А только раз заругал меня, когда чужие люди, много чужих людей было. Собакой назвал меня... Я ночью пришел к нему... Хе-хе-хе!

Китаец почти налег мне на грудь и продолжал:

— Пришел и топором голову ему отрубил... потом мадам его ножом по горлу... потом детям... Эге-е-е!

Пьяный начал дико кричать и хохотать, пока, обессиленный, не скатился с лежанки на пол и захрапел.

V

Ночь расплаты

Днем я не видел Юмен-Лена. Пришел он только к ночи и тотчас же вышел на улицу.

— Те ушли? — кивнул он в сторону землянки.

— Ушли, сразу как солнце село, — сказал я.

Он потупился в, ничего не говоря, вошел в сени и начал копаться в ворохе тряпья и старых циновок, грудой набросанных в углу за печкой.

Он вытащил оттуда большой старинный револьвер и нож и засунул их за широкий пояс.

— У тебя, капитан, есть? — спросил он, скосив глаза на торчащую из-под полы своей куртки рукоятку револьвера.

— Да! — сказал я. — А разве нужно?

— Все случиться может... — загадочно улыбнувшись, ответил бой.

Мы прошли весь город и свернули в узкую улицу, ведущую в сторону шахты. В одной из землянок еще издали мы заметили освещение.

— Тсс! — прошипел Юмен-Лен и юркнул за угол, где была гуще тень. Я последовал за ним, и так, прячась, мы подвигались к освещенной землянке, около которой притаились.

Зайдя за нее со стороны глухой стены, китаец ножом быстро просверлил в глиняной стене отверстие и взглянул внутрь.

— Смотри! — произнес зловещим шепотом бой. — Смотри, капитан, и не говори потом дурного о Юмен-Лене!

В большой землянке было светло. К потолку были прикреплены разноцветные фонари, и несколько масляных ламп ярко горели в различных местах землянки, освещая обвешанные картинами и пестрыми афишами стены и новые циновки на полу.

На нарах в дальнем углу несколько китайцев с сосредоточенными и азартными лицами играли в карты и курили, какой-то рослый человек с бегающими глазами играл на визгливой однострунной «хутя»*, подпевая заунывным, диким голосом.

Другой разносил в маленьких чашечках дымящееся питье, от которого краснели лица гостей и туманились глаза. Оба нанимателя готовили этот напиток из спирта и каких-то дурманных трав тут же у печки и зорко следили, чтобы деньги из карманов гостей переходили в руку китайца, разносившего чашки. Среди гостей были и мои сожители по землянке, и я даже расслышал в общем говоре голос Ли — убийцы моих несчастных соотечественников.

В другом углу, где было темнее, виднелись закутанные в теплые курмы** фигуры. Казалось, что эти фигуры спят, так неподвижны были они.

Когда же гости развеселились и опьянели, начали кричать и показывать героическую пляску с хлопаньем себя по

* Скрипка.

** Кофты.

бедрам и ногам и пластическими телодвижениями, тайные фигуры зашевелились, сбросили темные курмы и вышли на середину землянки.

Рев восторга встретил их. Не мог удержаться от восклицания и я.

Мой спутник взглянул на меня и сказал:

— Юмен-Лен все знал!

Когда я опять взглянул в землянку, три молодые девушки жеманно ходили перед нарами, тихо звеня колокольчиками причесок, гремя браслетами и щелкая длинными ногтями.

Все столпились вокруг и замолкли, глаз не сводя с этих кукольных лиц, ярко раскрашенных белой и алой краской, пестрых нарядов и уже забытых, нежных и кокетливых движений.

Девушки начали плясать, еще громче щелкая ногтями и пронзительно взвизгивая.

После каждого танца они обходили зрителей и собирали деньги.

Когда, утомленные, они сели на нары, их тотчас же окружила толпа.

Ли начал ссориться с двумя китайцами, старавшимися сесть рядом с девушками и угощавшими их трубками. Ссора перешла в драку, блеснули ножи и показалась кровь.

Девушки с визгом убежали, а приехавшие наниматели спокойно взирали на драку, хотя в ней начинали принимать участие все новые в новые люди

— Ты видел, капитан? — уже не скрываясь, громко спросил меня Юмен-Лен. — Здесь — в городе мужчин, в тоске в лишениях, — мы ждем, пока пройдет безработица и голод в Китае. Укрываются здесь и те, кто грабил в убивал, кто не повиновался властям. Здесь для всех найдется место, здесь все равны. Одна крепкая рука правит всеми, пока не придут дурные люди и не привезут с собой спирта в женщин. Когда в человеке проснется зверь, для него один закон — смерть. Ты слышишь, капитан? — спросил он вдруг и указал рукой на город.

Из города доносились крики, пьяные голоса и беспорядочное пение.

— Дурные люди бросила уже заразу повсюду!

С этими словами Юмен-Лен бросился в землянку. Выбив дверь, он неожиданно появился среди дерущихся и несколькими ударами ножа сразу свалил двух человек; потом, выхватив револьвер, хладнокровно пристрелил обоих нанимателей и девушек и спокойно покинул объятую ужасом землянку.

В разных местах над городом, словно по сигналу, вспыхнуло зарево и начало разливаться по небу, трепетное и тревожное.



Заунывные крики обезумевших людей, вопли, треск горящей сухой травы на крышах, свист и гудение поднявше-

гося ветра и встревоженное карканье воронья — слились в одну хаотическую, грозную ноту.

В бегущей и воющей толпе иногда раздавались властные окрики:

— На лесистую гору! На лесистую гору!

— Приказ судьи не разбегаться! Приказ судьи!

Я вышел на тропу и, поднявшись в гору, окинул взглядом море огня и понял власть и величие невидимого судьи.

.

Через неделю я был в Кайге и оттуда уже на лошадях быстро вернулся домой.

Через год только мне довелось посетить город мужчин. Обгорелые, закопченные стены, обвалившиеся и рассыпающиеся — они сохранились и, как разрушенные надгробные памятники, говорили о былой жизни неизвестных людей.

Несколько костей и черепов нашел я в погубленном судьей городе и старый пень срубленного дуба.

Но людей уже не нашел. Не видел и ворон...

Могильщики улетели за ушедшими, вместе с которыми пошли голод и смерть...

БАРИН

Солнце стремительным, неудержимым потоком врывалось в большие окна банковского зала, где, отделенные решетками от сдержанно гудевшей толпы посетителей, сидели кассиры, счетоводы и бухгалтеры, щелкая на счетах, звеня деньгами и непрестанно подходя к решеткам, за которыми белели лица клиентов.

Из окон виднелись верхушки гор, покрытых нежно-зеленой растительностью. Сверху, с безоблачного неба, струился свет и в воздухе сталкивался с короткими, горячими лучами, отраженными бухтой, оправленной в раму зеленых берегов. Суровые, неподвижные крейсера замерли у своих бочек, а вокруг них и дальше, до самого выхода в открытое море, сновали русские лодки и китайские сампаны, маленькие катера и буксирные пароходы, зарывающие свои тупые носы в синюю воду бухты.

От столика, стоящего вдали от решетки, поднялся высокий человек и медленной походкой подошел к окну.

Он облокотился на подоконник и взглянул вниз, под гору. Глаза его блеснули какой-то жадной радостью, когда он увидел бухту, сверкающую миллионами солнечных бликов, от которых разбрызгивались яркие лучи, теряющиеся в пропитанном светом воздухе.

Человек перевел глаза на изгиб бухты и тотчас же вспомнил, что там, где «Золотой Рог» переходит в «Восточный Босфор», незаметный даже с самых высоких мест Владивостока, уже с шумом набегают тяжелые, ворчливые волны океана и, подняв на своих плоских гребнях судно, мощно встряхивают им, вызывая на борьбу. Он вспомнил это теперь и, видя, как большая китайская барка, свертывая красноватые складчатые паруса, вздрагивала и качалась, поворачивая в бухту, ощущал ту легкую, приятную тревогу, которая всякий раз охватывала его, когда он выходил в открытое море.

— Дмитрий Константинович! — позвал его старший бухгалтер, — проведите по книгам чек Торгового Дома Бри-

мер и К°.

— Сейчас! — ответил высокий человек и, бросив еще раз восхищенный взгляд на сверкающую бухту и уходящий вверх город, принялся за работу.

Но его тянуло к окну, словно кто-то, родной и близкий, манил его туда и тихим, только для него одного внятным шепотом звал его.

Дмитрий Константинович понял этот знакомый зов и вздрогнул. Он с каким-то опасением оглядел весь зал; поднял глаза на высокий, украшенный вычурными лепными орнаментами и сильно закопченный потолок; посмотрел на причудливые лампы и замысловатые американские столы, потом встал и, весь согнувшись, вновь подошел к окну.

Но лишь только взгляд его скользнул по горам и далекому горизонту океана, Дмитрий Константинович выпрямился и весело поднял голову.

Подумав немного, он прошел в коридор и постучал в дверь директора банка.

— Войдите! — раздался знакомый голос, и Дмитрий Константинович открыл дверь.

Навстречу ему поднялся маленький, сухой господин с благообразным лицом и глубоко ушедшими под нависший лоб светлыми, холодными глазами.

— Чем могу служить? — спросил он, указывая рукой на стул.

— Я хочу просить у вас отпуска на три месяца, г. директор! — проговорил Дмитрий Константинович.

Директор задумался и наморщил лоб.

— Простите, но я не могу исполнить вашу просьбу, господин Колесников, — проговорил он наконец. — Три чиновника просили об отпуске еще в прошлом году, и я дал свое согласие. Летом же ожидается в порту наплыв иностранных судов, и банку предстоит много работы. Вы понимаете....

Колесников молчал, но в глазах его не потухла радость. Он улыбнулся и сказал:

— В таком случае я очень прошу уволить меня от исполнения моих обязанностей, Роман Борисович.

Директор даже привскочил в кресле и воскликнул:

— Да что у вас случилось?

— Ничего! Мне нужно отдохнуть. Я не могу долго жить в городе, — ответил, радостно улыбаясь, Дмитрий Константинович.

— Но ведь это же безумие! — почти крикнул директор. — Вы на хорошей дороге. Ваша карьера обеспечена, а вы для прихоти бросаете все! Это очень легкомысленно!

— Быть может... — согласился Колесников, — но дело в том, что я иногда ощущаю потребность уйти от людей и города и пожить с простыми людьми, с природой. Возвращаясь я всегда возрожденный и без тени озлобления, которое в городе постепенно заражает меня и отравляет все мое существование.

— Странно! — протянул директор. — Но ведь это — прихоть?

— Думаю, что нет! — горячо возразил Колесников. — Я уверен, что, не исполни я этого требования моей природы, — я погибну. Да, кроме того, я считаю грехом не испытать радостей и счастья тогда, когда они кажутся мне доступными. Что из того, если я буду богат или знатен, когда я не буду уметь радоваться, когда у меня на всем свете не будет ничего, что бы доставляло мне счастье?

— Да, — задумчиво шепнул директор, — это, действительно, ужасно!.. — и маленькое, сухое тело директора слегка вздрогнуло, а светлые глаза блеснули.

Но он тотчас же успокоился и твердым уже голосом произнес:

— Я не могу вас удерживать, господин Колесников.

Дмитрий Константинович поднялся и, пожав руку директора, вышел.

А Роман Борисович откинулся на спинку кресла и долго думал,водя уже бесстрастным взглядом по яркому небу и по залитой горячим светом противоположной стене кабинета.

II

— Чего ты все смеешься, барин? — с укором в голосе говорил старый рыбак Гаврила, вскидывая бесцветные, зоркие глаза на сидящего перед ним Колесникова.

— Хорошо мне, Гаврила, вот я и смеюсь! — ответил спрошенный и повернул к старику открытое лицо, озаренное тихим мерцанием больших мечтательных глаз.

— Чего хорошего-то?! — ворчал старик. — Холодно... мокро... Намедни как нас тайфун на море трепал. Гляди-кось — какой вал пошел...

— А все-таки хорошо мне, дядя! — весело крикнул Колесников. — Свободно... Никого кругом! И пусть там холод да голод меня мучают — меня им не сломить...

В голосе этого человека было столько радости, торжествующего веселья, что Гаврила уже дружелюбно взглянул на него и добродушно проговорил:

— Чудной ты, барин, право слово, чудной!

— Есть грех! — ответил с громким смехом Колесников. — Да что поделаешь? Уж такой я уродился. Хочу жить и счастье знать! Этим я только, видно, и чудной!

В это время налетел сильный шквал. Казалось, что неуправляемая струя стремительно мчащегося воздуха ворвалась в маленькую бухточку и хочет разрушить все и разбросать во все стороны.

У отлогого берега забила на набежавших волнах большая лодка и начала тяжело ударяться дном, скрежеща на крупной гальке.

Лопнула веревка, и угол паруса, вдруг освободившись, захлопал и заметался по воздуху, обвиваясь вокруг черной, гладкой мачты.

Колесников встал, поймал и привязал парус, а потом втащил лодку на берег, занеся подальше небольшую железную кошку, глубоко ушедшую в песок.

Старик тем временем у входа в небольшой шалаш, наскоро устроенный из рогож, куска паруса и ветвей, развел костер и на деревянной вилке повесил железный котелок.

Тайфун бушевал с дикой силой и заглушал голоса. Ветер пригибал к земле высокие мокрые кусты дубняка и по временам, отрывая ветви, взметал кверху целые тучи прошлогодних, жалобно шуршащих листьев. На берег с злым шипением и плеском вбегали волны, и казалось, что они длинными струями пены, словно острыми зубами, жадно впивались в черное тело земли.

Невдалеке от шалаша высилась большая голая скала, изъеденная волнами и ветром; у ее подножья, уже в море, виднелись обломки камней, а около них бились со свистом и стоном буруны, взвиваясь кверху столбом брызг и пены...

Темнело. На сером небе не видно было звезд. Море, сливаясь с густыми сумерками, бушевало и шумело все громче и громче, и призрачно маячили в темноте мчащиеся к берегу серые гребни тяжелых волн.

Поев ухи, рыбаки забрались в шалаш и здесь, забившись в угол, улеглись. Гаврила скоро уснул, а Колесников перевернулся на спину и, заложив под голову руки, смотрел широко открытыми глазами в темноту и тихо, радостно улыбался, и, улыбаясь, заснул.

III

Кто был Колесников и откуда он пришел, — никто не знал. Колесникову не было больше тридцати лет, хотя его гибкая, сильная фигура, с какими-то змеиными скользящими движениями, напоминала более юношу, чем зрелого мужчину.

Он был человек бывалый. Его знали моряки и офицеры во Владивостоке и промысловые охотники с Буреи и Лены; он таскался по тайге с партиями старателей-золотопромышленников и теперь пристал к артели рыбаков, подружившись с старостой Гаврилой.

— И чего ты только, барин, от хорошей жизни уходишь? Бросит все, шальный, да и свяжется с бродягами разными,

вот на манер как с нами теперь, — не раз спрашивали его рыбаки.

Колесников в таких случаях отмалчивался, но когда к нему очень приставали, говорил отчетливым, сухим голосом, твердо смотря в глаза собеседников:

— Трудно мне в городе с людьми долго жить! Живу год, живу два, а там вдруг потянет куда-то, — и уйду. Ни разу не уходил с места, поругавшись или сделав что-нибудь нехорошее. Уйду — и только! А не уйти не могу. Знаю я, что если останусь, убью кого-нибудь или сам с собой покончу.

— Убьешь? — переспрашивали изумленные рыбаки. — Зачем убьешь?

— Убью того, кто удержит меня! Врагом такой человек будет для меня, — отвечал тем же сухим, бесстрастным голосом Колесников. — А если не убью, тогда сам пушу себе пулю в верное место. Уж если меня потянуло куда-нибудь — значит, к счастью. Не взять счастья — грех! Если же оно близко, а взять нельзя — умирать надо!

Все это Колесников говорил твердым, убежденным голосом, а слушатели с удивлением мотали головами и иногда выкрикивали:

— Совсем шалый ты, барин, как есть шалый!

— Ну, и шалый! — смеялся тот. — А зато, когда умирать буду, так умру спокойно, потому что изжил все, что только мог изжить.

Видя, что товарищи не понимают его, он переменял разговор и начинал им рассказывать о том, чего они не знали и никогда не видели.

Колесников был хорошим рассказчиком, — говорил с увлечением, и видно было, что он нарочно старается приспособиться к пониманию своих случайных товарищей, чтобы не обидеть, не унизить их своим превосходством.

Простые, грубые рыбаки и охотники понимали это и любили «шалого барина», ценя его за ум и за удаль.

IV

Тихо плыл над пустынной бухтой рассвет. Ветер к утру начал стихать, и вскоре по воде бежала лишь рябь, тихо всплескивая и звеня в густом тумане.

— Вставай, барин! — крикнул старик, выходя из шалаша и крестясь на восток. — Надо в море выходить — артель поискать. Поди, все намерен попритаились?

Вскоре большая лодка, распустив паруса, выходила уже в открытое море, где еще бежали не успевшие улечься за ночь тяжелые, свинцовые волны.

На руле сидел Гаврила и со всей силой упирался в него большими, черными руками, держа в открытое море.

Колесников стоял, прислонившись в мачте и, зорко оглядывая необозримую водяную даль, разыскивал на ней паруса двух лодок своей артели, отбившихся от них во время неожиданно налетевшего накануне тайфуна.

Но в туманном и тусклом воздухе ничего нельзя было разглядеть, и Колесников стоял молча и терпеливо ждал, пока не рассеется туман.

Наконец, выглянуло бледное, встревоженное солнце, и при первых же лучах его растаял туман, и казалось, что кто-то таинственный разорвал пелену и показал невидимые до того дали, яркие и прозрачные.

— Ого-го! — закричал вдруг с носа Колесников. — Дядя Гаврила! Есть! Наши с правого борта идут. А слева еще какая-то барка плетется...

Старик сразу же переменял паруса и с места завернул свою лодку вправо.

Часа через полтора артель была в сборе.

Три больших двухмачтовых баркаса, с большими складчатыми китайскими парусами, шли один за другим. На палубе видны были снасти и целые вороха сетей, среди которых лежали человек десять рыбаков, составлявших артель.

Переговорив с рулевыми, Гаврила направился во главе их к северу, в известную только ему одному бухту, где в это время был самый лучший ход кеты и крупного осетра.

В полдень они сравнялись с огромной парусной шхуной, виляющей в разные стороны и плохо слушающей руля.

— Гляди-кось, мачта-то у ей сломана! — крикнул рулевой с заднего баркаса.

И действительно, обломок передней мачты торчал над палубой и золотистые щепки сухого дерева валялись среди канатов и бочонков. Вдруг Гаврила поднялся и, прикрывая глаза ладонью, начал пытливо и хищно всматриваться в проходящее мимо судно.

— Ребята! — крикнул он. — Да ведь это Кым идет!

— Кым! Кым! — закричали с баркасов, изумленно поглядывая на проходящую мимо барку.

Из-за борта сторожко выглянула голова старого корейца и тотчас же скрылась, а через мгновение несколько корейцев внимательно и мрачно смотрели на направляющиеся к шхуне лодки.

— Это — Кым! Так и есть, он самый! Сколько раз мы на него охотились, да все уходил, — радовался старик, шаря под грудой поплавок для невода.

— Кым? — спросил Колесников. — Кто он такой?

— Он, видишь ты, хозяин этой барки. Хорошая, ходкая барка, что твой пароход. Он ходит с нею вдоль берега, да и скупает все, что добудут в тайге бродячие корейцы, все скупает, что подороже: панты*, соболя, корешки**, чибет*** и золотишко. Скупает дешево. На водку да порох меняет и везет к себе, а там расторгается.

— Ловкий! — заметил, улыбнувшись, Колесников.

— Ловкий и фартливый! Ни разу никому не дался, а уж сколько за ним охотилось народу! Да, не дается старик. Про Кыма говорят, что он самый большой богатеи у себя на ро-

* Панты — весенние целебные рога оленя.

** Корешки — ценящиеся китайцами на вес золота корни женьшеня, возвращающего, по преданию, молодость и силы.

*** Чибет-цибет — пахучий корень редкого растения, из которого приготавливают духи и лекарство от отравления опиумом и гашишем.

дине, а скупой — старый черт! Сам барку свою водит. Вот, гляди, барин, — и теперь он там из-за борта глядит...

— Староста! — раздался голос рыбака с дальней барки. — Начинать, што ли?

Гаврила подумал минуту, а потом поднялся и махнул рукой.

— Ставь все паруса! — крикнул он. — Гонись! В топоры возьмем!

Голос старика прокатился над водой и утонул вдали. Три лодки с надутыми парусами помчались к корейской шхуне.

На ней заметили этот маневр, и тотчас же два широких паруса зашуршали, поднявшись на боковой кормовой мачте.

Барку сильно накренило, и она, легко скользя, пошла быстрее, оставляя за собой седой, шипящий след

Началась погоня. Лодки рыбаков окружили кольцом шхуну и мчались к ней, то отставая, то нагоняя ее при сильных порывах ветра.

— Догоним! — шептал старик. — Догоним! Бизани ведь, нет? — без нее не уйдешь! Виляет и кидается... Не уйти!..

И он, зорко глядя вперед, все сильнее упирался в длинную рукоятку руля.

V

Часа через два все было кончено. На палубе шкуны валялись разбитые ящики и бочки, разорванные паруса и сети, а среди них, скорчившись, лежал ничком старый кореец в окровавленной белой курме*.

— Попался-таки Кым! — радостно произнес Гаврила, толкнув ногой окоченевшее уже тело корейца.

— А те доплывут, как думаешь? — спросил Колесников,

* Курма — теплая кофта.

смотря в сторону берега, где по временам что-то чернело, скрываясь за набегающими волнами.

— Куда тут поплывешь? — засмеялся старик. — Разве на тот свет, как те, что раньше поскакали в воду! Ну, готово там, что ли? — крикнул он.

— Готово, староста! — раздались радостные голоса рыбаков, перегружавших добычу с шкуны на свои баркасы.

— Ну, ребята! — крикнул вновь старик. — Вы ступайте в Уссурийский залив. Степаныч пособит вам сплавить все, что добыли, а сами, как справитесь, — назад идите, а мы уж вас найдем... Недалеко в заливе притаимся.

Два баркаса, глубоко уйдя в воду, повернули назад и тихо поплыли, держа курс на Владивосток.

Ушла и лодка старосты, ныряя с высоких гребней вниз и вновь вскидываясь вверх, как чайка, борющаяся с ветром. Море было пустынно, жутко; словно призрак мертвеца, кидалась из стороны в сторону корейская барка, бросаема на волнах, несущих ее все ближе и ближе к берегу, где белела седая полоса воды, бьющейся у гряды острых, черных камней.

VI

В небольшой бухточке, спрятавшейся среди гористых берегов, весело горел и потрескивал костер. Длинные, кровавые отблески бежали по спокойной воде и освещали низкую черную фанзу с прилегшими к ней вплотную кустами дубняка.

Около огня стояла китаянка и, прикладывая ко рту сложенные в рупор руки, выкрикивала:

— Ой-е! Ой-е!

И кто-то издалека отвечал ей громким голосом, грузно катящимся по сонной поверхности бухты:

— Най-ли! Хо Най-ли!*

* Най-Ли — женское имя. Хо Най-Ли — дорогая, милая Най-Ли.

Молодая девушка хлопотала около огня, готовя поздний ужин и поглядывая темными, лукавыми глазами на небо, усеянное низко опустившимися, загадочно поблескивающими звездами.

И вдруг девушка подняла голову и прислушалась.

Тихо всплескивала вода под мерными ударами весел и журчала под носом лодки.

Слышались негромкие голоса людей, изредка перебрасывающихся короткими словами.

Девушка пугливо вглядывалась в темноту, прикрыв ладонью глаза от света костра. Всплески воды и глухой рокот весел в уключинах приближались.

Через минуту в освещенном огнем круге с бежавшими от него по воде длинными полосами света появилась большая лодка с опущенными парусами и целой горой бочек, снастей и тюков.

— Хунды-янь! — воскликнула девушка, всплеснув руками и восхищенными глазами глядя на нос лодки, где виднелась высокая фигура человека.

Красная рубаха стоявшего на носу алым пламенем блеснула при свете костра и, сразу потухнув, нырнула в темноту.

Но девушка успела разглядеть черные волосы и яркие глаза человека и с дрожью в голосе тихо повторяла:

— Хунды-янь! Хунды-янь!

С восхищением она рассказала отцу о красивом пришельце и его красной, как цветок опьяняющего мака, рубахе.

Старый китаец-рыбак нахмурился, но, заметив, что неизвестные люди мирно копошатся на другом берегу, около разведенного ими костра, успокоился и, поужинав, поплелся в фанзу.

Девушка мыла посуду и, тихо напевая, поглядывала на противоположный берег бухты, где, догорая, костер пришельцев светился маленькой желтой точкой.

Щелкал соловей в кустах, а другой, еще более голосистый и опьяненный, свистел и заливался в ветвях старых ильмов на соседней горе.

Девушка заслушалась и, опустив голову на грудь, тосковала о чем-то неизвестном, но дорогом и знойном, как солнце, как радость. Зашуршал песок под чьими-то шагами, и она в изумлении подняла голову.

Высокий человек с лодки в красной рубаше стоял перед ней и глядел ей в лицо большими, задумчивыми глазами.

— Я видел тебя, девушка! — сказал он. — И пришел.

— Хунды-янь!.. — прошептала она, не поняв его слов.

Он сел рядом с ней и, обняв ее, бесстрашную и молчаливо покорную в эту душную летнюю ночь, полную непонятных, могучих зовов, рождающихся трепетов земли и горячих шепотов кустов и трав, привлек к себе....

Уже поблекло небо и побежали по нему белесоватые тучки, когда она, усталая и счастливая, вошла в фанзу, где громко храпел старый китаец, и, свернувшись комочком, уснула, шепча:

— Хунды-янь... хунды-янь...

И снились ей поцелуи, ласки и странно-понятные, хотя чуждые слова этого высокого, такого нежного и красивого человека с черными мягкими волосами и добрыми, тихими глазами.

Наутро она вышла из фанзы и крикнула пронзительно и жалобно.

На противоположном берегу никого уже не было. Там виднелись лишь вырубленные кусты, да взвивался кверху сизый дымок не потухшего еще костра.

Она побежала прочь от дома и, взобравшись на высокий мыс у выхода из бухты, окинула взглядом сверкающую на солнце ширь океана.

Большая, глубоко сидящая в воде лодка медленно плыла вдоль высокого берега, то выгибая вперед надувающиеся паруса, то прижимая их к мачтам.

На корме ярким пятном рделась красная рубаша.

— Хунды-янь! — призывно крикнула девушка. — Хунды-яньни...

Но долго никто ей не откликнулся. Наконец, налетела чайка и начала кружиться, а ее скрежещущий, стонущий крик сливался с жалобным зовом девушки:

— Хунды-янь... хунды-янь... Ой-е!..

VII

— Ты вот меня попрекал, барин, за Кыма! — говорил, лежа на дне лодки, Гаврила и поглядывал на сидевшего на руле Колесникова. — А сам разве лучше? Вот девчонку-то китайскую обманул нынче, а что она теперь делать-то будет?

— Я же ее силой не неволил, Гаврила! — ответил Колесников, улыбаясь глазами. — Ночь была тихая, теплая, и все кругом шептало. Любовь пришла, как приходит день, и ушла, как уходит ночь. Что же здесь плохого?

Но Гаврила не ответил. Он уже мерно похрапывал, прикрыв глаза картузом и раскинув руки.

А Колесников тихо напевал что-то и уверенно вел баркас в сторону белеющего камня, за которым был поворот к Владивостоку.

За ним следом плыли остальные две лодки артели, тяжелые, доверху нагруженные бочками с соленой рыбой и пучками красно-бурой морской капусты.

Поздно к ночи они вошли в Золотой Рог и направились к торговой пристани, где, никогда не прекращаясь, кипела жизнь. Не успели они ошвартоваться около толстых, покрытых раковинами и водорослями свай, как вдруг в толпе китайцев и корейцев, толпящихся на пристани, раздался одинокий крик. В нем была злоба и отчаяние.

Какой-то кореец надрывным голосом, взмахивая руками и притоптывая, кричал что-то, все чаще и чаще повторяя:

— Море, большое море... Кым, барка Кым убил, совсем убил... Плохой человек!

К этому голосу присоединился другой, и, повторяя те же слова, двое корейских купцов указывали на Гаврилу и Колесникова и жаловались, о чем-то прося, чего-то настойчиво требуя.

— Гаврила! — шепнул, улыбаясь побледневшими губами, Колесников. — А ведь те... доплыли.

— У-у! проклятые... — проворчал старик и, вдруг поднявшись на большую бочку, огляделся кругом и одним ударом топора перерубил причал.

Зашуршал парус, и баркас, круто повернувшись, пошел в бухту.

Сзади раздались крики, глухо застучали ноги людей, прыгающих в лодки, послышался резкий свисток, а вслед за ним пыхтение парохода и короткий окрик.

— На воду!

Через несколько минут рядом с баркасом резал воду таможенный катер и брал его на буксир.

Гаврила угрюмо бросил веревку и спустил парус, а Колесников с тихим любопытством смотрел на все происходящее и не чувствовал ни страха, ни обиды.

VIII

Прошло три дня.

Задолго до рассвета из тюрьмы вывели восемь человек арестантов.

Солдаты окружили их, и вся небольшая группа быстрым шагом подвигалась по узкой долинке между двумя грядами гор с плоско срезанными вершинами, на которых белели низкие стены фортов и кучи свежей желтой земли.

В толпе арестантов слышались сдержанные разговоры, порой резкий, неожиданно развязный, острый смех. Вышли на полянку, и вдруг из неясного, обманчивого полусумрака вынырнул нелепый, обидно-простой излом виселицы.

Несколько человек темными пятнами шевелились вокруг нее.

Какая-то жуть притаилась в тусклом воздухе. Мерно шли солдаты и все больше и больше сбивались и путались шаги арестантов в жалкий, просящий шорох.

— Вот и конец! — сказал Гаврила и шумно перевел дух.

— Конец! — сказал Колесников и поднял кверху спокойное лицо с улыбающимися, ласковыми глазами.

— Первый будет «неизвестный», по прозвищу «барин»...

Колесников вышел вперед и уверенным шагом пошел за идущим перед ним человеком туда, где в непрозрачном, густом воздухе маячила виселица, неизбежно понятная и жутко близкая...

РУЛЕТКА СМЕРТИ

(Из цикла «Старый Петербург»)

Был старый загородный ресторан.

Высокие вековые деревья важно шумели, словно шептали о чем-то им только ведомом, что видели они и слышали за долгие годы своей жизни бок о бок с почерневшими от времени зданиями старого ресторана, где прожигали жизнь сменяющие друг друга поколения.

Теперь уже нет огней в окнах этих зданий; и не шумит толпа около шаткого крылечка с истлевшими колоннами и покосившимися ступенями.

Все заколочено досками, опечатано и медленно, безмолвно умирает.

Черные дуплистые липы, безнадежно опустив свои искривленные ветви, печально смотрят на опустевшие, неосвоенные дорожки, где еще так недавно двигалась толпа.

Однако, еще отцы наши помнят, как буйно и говорливо кипела веселая жизнь под черными сводами лип, глядящих сверху на плавный бег Невы.

Они любят рассказывать, как боролся яркий свет фонарей с коротким сумеречным часом после вечерней зари и как он сливался с белой ночью и новой зарей.

И когда они, эти важные, спокойные старики, говорят, кажется, что из прозрачных полутеней белой ночи приходят живые призраки и скрываются под позеленевшей от мха крышей старого крылечка.

...В угловом кабинете ресторана каждый день начали собираться друзья.

Уже серебряные нити блестели в их волосах, в глазах таилось предательское утомление, а на лица их наложила свою печать приближающаяся смерть.

Они давно жили в разлуке и неожиданно съехались в Петербурге. Через месяц им предстояло вновь разбрестись по свету: одного ждали на его посту в далеком, туманном Лондоне, другой возвращался в Польшу, где стояла его дивизия, третий — отправлялся блуждать по Европе, разыскивая редкое старинное серебро и бронзу для своих бесценных коллекций, и только четвертый оставался в Петербурге.

Знаменитый врач, он жил в великолепном особняке и не покидал призрачного города, сознавая, что сросся с ним душой.

Каждый вечер четверо этих людей собирались в угловом кабинете, где много лет перед тем проводили они свою безумную, безудержную юность.

Медленно пили они замороженное Клико, тихо перекидывались воспоминаниями о прежнем и об ушедших и... скучали.

Первый понял это доктор, встал, прошелся по кабинету и сказал:

— Господа! Как-никак, а скучно! Давайте развлекаться!

— Уж не цыганки ли? — спросил дипломат, тонко и прерзительно улыбнувшись.

— О, нет, милый князьинька! — засмеялся врач. — Поиграем в смерть!

— В смерть? — спросили все.

— Ну да! — пожал плечами врач. — Ведь она и так уже недалеко от нас... Не худо подразнить эту костлявую даму. Мы не можем бояться, — ведь у нас нет больше никаких желаний?

Все молчаливо согласились, и с той ночи стало веселее.

Друзья играли в рулетку.

Вертелся круг на боковом столике, прыгал шарик, и официант, исполняющий должность «крупье», монотонно выкликал номера и цвета.

А когда заря заглядывала в щель неплотно задвинутой драпировки, игра кончалась, и «крупье» приносил узкий длинный ящик с десятью старинными карманными пистолетами.

Играли без денег, на очки, и проигравшийся подходил к ящику, не глядя, брал пистолет и стрелял себе в висок.

Но выстрела не было. Из десяти пистолетов только один был заряжен, и судьба долго не вступала в дерзкую игру смертников.

Был конец мая, и пришел срок разлуки друзей.

Они встретились просто, но без радости и расставались без печали, словно после частых встреч, с осадком утомления и недовольства на душе.

— Итак, мы в последний раз сегодня будем дразнить смерть? — сказал дипломат.

— Да... да... — произнес коллекционер. — Недурно придумал Петр Георгиевич эту игру в «рулетку смерти»!

На звонок вошел метрдотель и, низко поклонившись, сказал:

— Сейчас подадут рулетку, только официант будет другой, прежний заболел.

Вошел новый «крупье». Серый, бесцветный старичок с безжизненными, потухшими глазами и глубокими морщинами на измятом лице.

Началась игра.

Приносили бутылки с шампанским, кофе, сигары...

А под утро в проигрыше был генерал.

40,000 очков...

Улыбаясь, подошел он к столу, где был ящик с пистолетами и где стоял старый официант.

— Смотрите! — воскликнул вдруг генерал, и в голосе его зазвучали теплые ноты. — Смотрите! Под слоем новой краски на стене я вижу глубоко вырезанное сердце, пронзенное стрелой и гусарской саблей. Это я вырезал это сердце для Аннушки Мятлевой. Красавица была девушка и, хоть дочь лакея, — не чета нашим кисейным, нервным барышням. Старые, старые дела... Где-то теперь красавица?.. Э-эх!

Вздохнув, он протянул руку и взял пистолет.

Никто не заметил, что подал его генералу измятый официант с внезапно ожившими и загоревшимися глазами.

Грянул выстрел.

Кабинет заволокло дымом.
Долго возились люди, вынося грузное, мертвое тело...

* * *

Все это видели ветхие черные липы, но теперь лишь шепчут они об этом, со страхом и грустью глядя на пустые, темные дорожки, покрытые опавшими прошлогодними листьями и пробивающейся повсюду сорной травой...

ОТКЛИКИ ДАВНЕЙ БЫЛИ

(Из цикла «Старый Петербург»)

В глухой сибирской деревушке, затерявшейся в безлюдней тайге, мне случайно пришлось заночевать.

Была осень. Одна из гончих собак отбилась от стаи, и никак нельзя было приманить ее. Видно, за лисой ушла или попалась волку.

Это меня задержало и заставило заночевать в Истмановой.

Хозяин избы, высокий, стройный крестьянин со строгим, почти суровым лицом, ввел меня в чистую горницу и сказал:

— Гостем будь — рады гостю!

Пока ставили самовар, я осматривал комнату и среди разных портретов, развешанных по стенам, заметил старинное изображение корабля, на фоне которого было помещено какое-то очень знакомое здание. Я долго не мог вспомнить, где видел я этот могучий, закругленный, как у крепостных башен, угол с далеко выступающим, тяжелым карнизом и маленькой, почти потаенной дверью на уровне земли, словно лаз в пещеру.

Я видел такие замки в Бретани, но откуда изображение их попало сюда, в неизвестную, вероятно, даже местному исправнику деревню Истманову?

Когда хозяин внес самовар, он, заметив мое любопытство, шмыгнул по моему лицу сторожкими глазами и хитро улыбнулся.

— Старинная картина! — сказал он.

— Это-то я вижу, — ответил я, — но не понимаю, что обозначает картина?

— Михайловский дворец это — в Петербурге, — проговорил, словно нехотя бросая слова, хозяин.

Я даже вскрикнул. Это был юго-западный угол Инженерного замка, находящийся рядом с лестницей, ведущей в церковь.

— Почему же он нарисован на этом корабле? — спросил я.

Хозяин подумал немного, а потом, словно решившись, сказал:

— Хлыстовский корабль там был лет десять, пока его

не разорили. Молельня, что ли, сектантов-хлыстов...

И опять каким-то тусклым и принужденным сделался его голос.

Я видел, что мой хозяин не хочет сразу всего говорить и не стал настаивать.

Только тогда, когда три стакана чаю с коньяком покрыли суровое лицо крестьянина румянцем, он сам начал свой рассказ.

— В Михайловском дворце, при Александре Благословенном, был смотрителем полковник Татаринов, женатый на знатной и богатой. Барыня жила скромно, никуда не ездила, никого не принимала, только книги разные старинные по делам церковным читала. Ученая, ровно начетница была. Долго так жили Татариновы, а потом стал муж замечать, что гости стали к жене ходить, все знатные, богатые и такие же, как она — строгие и молчаливые. Чужал неладное полковник, да жена ему ничего не сказывала.

Раз только пришла к нему и говорит:

— Уходи из дома и денщиков ушли. Если удастся, что задумала я — в больших чинах и почете умрешь. Теперь только не спрашивай и никому ничего не говори!

Ушел Татаринов и солдат своих увел, а в доме его в это время делались дела немалые.

Жена Татаринова, как потом оказалось, спозналась с хлыстами.

Купец первой гильдии, богатый и строгой жизни человек Фролов, Хрисанф Матвеевич, вошел к ней в доверие и свой хлыстовский корабль здесь в безопасном месте устроил. А были в том корабле два брата, бароны Корфы, и их сестра, князь Аникита Голицын с молодой женой, княжна Свобода-Рогожинская, помещик Лабзин, Дубовицкий, Круглович, все люди, которые губерниями трясли, к которым губернаторы еще в строгие времена императора Павла ездили на поклон. Были и другие...

Однако, тайная полиция откуда-то узнала о корабле и начала уже подбираться, только опасалась начинать дело: уж слишком много сильных людей пришлось бы тронуть, ну, понятно, было боязно. Не знали тогда, как посмотрит

на дело Государь и какое будет его решение.

Узнали об опасности и в корабле, и задумали дело — залучить княжну Горяинову.

Девницей она была, хоть уж и не молодая. Горе у ней какое-то приключилось, вот и не пошла замуж. Сила у ней была большая. Всем говорила правду, никого не боялась, и в родстве и в дружбе с самыми сильными людьми была!

И залучили ее в корабль.

Взялся за это дело сын купца Фролова, молодой Илья Фролов. Знал он себя хорошо. Первым красавцем славился в городе. Высокий, ловкий, глаза с поволокой, русые волосы в кольца и румянец, словно у девицы.

Уж как он свел знакомство с княжной — неизвестно, а только стала Горяинова в корабль на всякое радение ездить. Притаилась, попряталась по углам полиция — ничего не слышит, ничего не видит.

А княжна во время радения глаз с купеческого сына не сводит, — так он ей по сердцу пришелся.

Горят в высокой, ровно церковь, комнате шандалы, каждый в восемь свечей, и с потолка на цепи спущен медный паук с тридцатью вставленными в него восковками. Ходит по комнате молодой Фролов. Глаза горят, румянец шире расплывается. Томно смотрит он на радеющих, то вдруг обожжет их искрами глаз, и кружит, кружит, как орел, все скорее и скорее. Вот забегал он, как олень несется, — ног на бегу не видать. И уже, и мельче круги пишет по комнате красавец. Вот уж только видно, как мелькают руки, и то появится, то исчезнет бледное лицо. Ни глаз, ни губ — не видать. Белое, недвижимое пятно вместо лица. Уж давно погнулись в одну стороны языки свечей, оплывает воск и с треском падает на пол. Ударяет по лицам собравшихся сильный ветер, а Фролов кружит и кружит. Вот он вдруг взметнулся, вскинул руки и всем показалось, что он улетает, что поднялся он на воздух и здесь кружится, как пыль, когда ее завьет в быстрые воронки ветер.

Сразу от этого последнего кружения поднимался вихрь и гасли все свечи...

Бывала на каждом радении княжна Горяинова, а потом...

Хозяин потрянул головой и, словно жалея, что завел об этих старых и тайных делах речь, начал быстро вести ее к развязке.

— Что-то приключилось с княжной... говорили, будто ребенка ждала... Словом, утопилась она в Неве, против Летнего сада...

Тайная полиция тогда сразу дело двинула, и весь корабль в Сибирь попал... Некоторые и здесь жили, вот, к примеру, моя прабабка... княжна Свобода-Рогожинская...

Он умолк, а я долго не мог оторваться от тяжелого каменного угла Михайловского дворца, мрачного призрака из города призраков, рожденных туманами над бешеным бегом реки, тусклостью белой ночи и властным мановением руки Медного всадника...

СТАРОЕ ВИНО

— Погодите! — сказала бабушка. — Так и быть уж — принесу вам старого вина... Полакомьтесь!

И когда все ей кричали вслед «ура», она, стуча костылем, быстро вышла из столовой и в дальней комнате зазвенела ключами.

— Отличная женщина, ваша бабушка! — воскликнул Петя, уже оканчивающий студент, и блестящими глазами окинул изящную фигуру сидевшей рядом с ним Веры Алексеевны. — Прекрасная старушка.

Молодая женщина откинулась назад и, зардевшись под огнем его взгляда, выпрямилась, невольно гордая своей красотой и силой обаяния.

— Это после ужина под Новый год вам все кажется отличным и прекрасным! — насмешливо глядя на студента, сказала она.

— Вы ошибаетесь! — возразил Петя страстным шепотом. — Я еще днем сказал вам, что вы — мечта! Я буду повторять это всегда! Всегда!

Вера Алексеевна молча повела плечами и небрежно закинула ногу на ногу.

— А вот и вино! — добродушно заговорила вошедшая бабушка. — Его пили еще на свадьбе моих родителей и тогда говорили, что это очень старое вино. Пойдем теперь в зал, — нам туда подадут вино.

Все разбрелись по уютным уголкам большого зала и уселись — кто за японской ширмой, на широком диване, забравшись на него с ногами, кто — в полумраке под пальмами, а самые юные вместе с бабушкой — вокруг низкого стола в нише балкона, где кто-то предложил рассказывать «самое страшное».

Вино было темное, как кофе, непрозрачное и густое, очень крепкое и очень ароматное.

Легкое головокружение и приятную истому возбуждало оно, и студент чувствовал это, не сводя взгляда с молодой женщины.

— Вы — любимая! — шепнул он чуть слышно.

— Да! Мой муж меня очень любит, — согласилась Вера Алексеевна.

— Муж... — презрительно дернул головой Петя. — Я вас люблю...

— Меня? Жenu вашего друга?! — засмеялась она и наклонилась к самому его лицу.

Петя увидел золотистые искорки в ее зрачках, а ее горячее дыхание обжигало ему щеку...

Студент уже протянул руку, но в это время раздался голос мужа Веры Алексеевны. Молодая женщина встала и, не взглянув на Петю, быстро ушла.

— Благородный рыцарь! — раздался над ним чей-то голос и, взглянув вверх, студент увидел белокурого пажу в коротком голубом плаще, украшенном гербами, и в шапочке с пером. — Благородный рыцарь! Моя повелительница призывает вас на помощь! Не медлите!

Повинуясь встревоженному голосу пажу, студент бегом направился к выходу. Он ясно различал звон своих шпор и глухие удары длинной и тяжелой шпаги, ударяющей его по широким раструбам сапог.

— Вот она! — сказал паж и опустился на одно колено.

На возвышении, покрытом коврами и парчой, окруженная свитой, пажами и пестро одетыми шутами, сидела величественная седая женщина, опираясь на посох и с тревогой смотря вниз.

А там, на дворе, окруженном рвом и стеной для турниров, валялись растерзанные лошади и корчились в судорогах умирающие люди. Только один еще был на ногах.

Молодой рыцарь, обнажив меч, бился с огромным барсом, но уже изнемогал и все чаще и чаще клипов рассекал воздух, а куски лосиной куртки и брызги крови падали на песок.

— Помоги ему! Помоги! — услышал студент знакомый голос.

Говорила старая женщина, восседавшая среди своей свиты.

— Злой волшебник, враг нашего рода, — продолжала она голосом, полным отчаяния, — принял вид барса и уничтожает наш народ. Если мой внук погибнет, — с ним умрет последняя надежда...

Столько горя и властной мольбы было в голосе старой женщины, что студент, не раздумывая, обнажил шпагу и одним прыжком был уже на дворе.

Он поспел вовремя. Молодой рыцарь уже падал. Кровь сочилась из головы и груди. Острые когти зверя сильнее и чаще касались его тела.

— Если погибну, — шепнул рыцарь, — лучше убей мою жену, но не отдавай ее на позор! Сердце мое... моя душа — в ней... Можно пережить все, кроме позора жены... Клянись!

Студент едва успел поднять в знак клятвы руку, как барс ринулся на него.

По счастливой случайности или сознательно, студент быстро протянул шпагу, и длинный клинок, как жало, погрузился в горло зверя.

Оглушительные рукоплескания и восторженные крики привели его в чувство. Он очнулся.

Над ним свешивались широкие листья латаний, кругом царил мягкий полумрак, а поодаль, за низким столом, освещенная лампой, сидела бабушка с внучатами и говорила:

— Всегда надо быть благородным, не делать ничего из-за угла, трусливо, втихомолку! Так сказал им рыцарь Олаф...

Вера Алексеевна, взяв мужа под руку, стояла у окна и внимательно слушала рассказ бабушки.

Петя закрыл глаза, почувствовав жгучий стыд, но длилось это одно мгновение.

Он тихо поднялся, подошел к своему другу, крепко обнял его, потом поцеловал руку Вере Алексеевне и оказал им, стараясь не мешать бабушке:

— Ужасно вы оба — хорошие! Я бы для вас на все пошел... даже с барсом драться!..

— С каким барсом? — засмеялась Вера Алексеевна.

— Я сейчас сон такой видел, — ответил Петя.

— Хорошо выспался? — спросил муж Веры Алексеевны и добродушно хлопнул студента по плечу.

— Нет, я не спал! Из старого вина выплыли хорошие, трогательные воспоминания... Вот такие старые сказки, какие рассказывает сейчас бабушка...

УРОК В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПОЛКУ

Сегодня на Каменноостровском проспекте меня обогнала великолепная коляска. Закутанная в меха дама небрежно полулежала на мягких подушках и, проезжая мимо, вскинула на меня глаза, такие знакомые и необыкновенные глаза.

Мне вдруг вспомнилось одно происшествие, почти забытое уже. Да и не удивительно! Случилось это тогда, когда я был всего в четвертом классе.

Мне нужен был урок. Об этом знали многие мои знакомые, и однажды я получил письмо с предложением явиться куда-то в Измайловский полк, к 8-ми часам вечера. В тот же день я, конечно, отправился по указанному адресу.

Дом стоял в самом конце одной из дальних рот. Тогда там были пустыри и огороды, а среди них и высился этот дом. Издали он мне показался черным. Вероятно, потому, что в окнах его не было света.

Я открыл калитку и вошел в обширный, покрытый топкой грязью двор.

Со всех сторон, от дома и от гряд, тянувшихся от дороги, на меня накинулись собаки. Им, вероятно, удалось бы меня загрызть, если бы на их лай не вышел из дома седой старик с железной палкой и не отогнал наседавших на меня псов.

Старик проводил меня до дома и впустил в переднюю.

— Сейчас я доложу барыне! — сказала встретившая меня горничная и ушла.

Я не успел разглядеть большую темную комнату с какими-то блестящими украшениями на стенах, так как вошла толстая дама с близорукими навывкате глазами и узкими, почти незаметными губами и, хрустя пальцами, спросила:

— Вы — учитель?

Я показал ей письмо. Введя меня в боковую комнату, она сказала:

— Обождите! Я сейчас пришлю сюда вашу ученицу...

Я начал разглядывать комнату. Она была вся завешена какою-то полинявшей материей, местами протертой и очень запыленной; потолок был затянут сукном, а с середины его спускалась плоская бронзовая лампа, украшенная камнями.

Тяжелые, черные столы на каких-то чудовищах вместо ножек стояли в углах. Вдоль стен тянулись низкие диваны с целыми горами подушек.

Я не слышал, что кто-то вошел в комнату, но почувствовал это и быстро повернулся к двери.

Два горящих, как угли или как зрачки волка, глаза в упор смотрели на меня, и за их блеском я не видел чело- века.

Когда я немного успокоился, то заметил девочку лет двенадцати или тринадцати.

Она была высока ростом, тонка и стройна. Копна черных курчавых волос обрамляла оливковое подвижное лицо с горящими глазами.

Она долго смотрела на меня, а потом вдруг улыбнулась, блеснув, как лезвием ножа, ослепительно белыми зубами, и смело шагнула в мою сторону.

— Ты — добрый... — шепнула она по-русски, но с чуждым для моего слуха произношением. — Не обижай!..

Мы уселись, и я предложил ей читать вслух. Читала она плохо, иногда даже с трудом разбирая слова.

Я не мог преодолеть любопытства — и спросил ее, русская ли она.

— А ты не будешь смеяться? — шепнула она. — Ну хорошо, — скажу. Я и бабушка, мы — индуски...

Девушка вдруг прервала рассказ и насторожилась. Я тоже прислушивался. По коридору, ведущему из передней, кто-то тихо крался и, подойдя к двери, подслушивал. Но девочка уже читала, наклонившись над книгой, и только тогда подняла голову, когда шаги, так же крадучись, замерли вдали.

— Это мачеха, — злобно зашипела она, — злая, нехорошая, мерзкая! Бабушка и Майя — мы ненавидим ее, а папа...

— Читайте, Майя! — сказал я.

Она продолжала чтение, но я замечал, что девочка все время прислушивается к разным звукам, доходившим сюда из дальних комнат.

Невольно ожидал чего-то и я.

И вдруг мне сделалось страшно.

Я совершенно явственно расслышал над головой топот ног, удары по чему-то мягкому и стоны, громкие и жалобные.

Майя встала и, подняв кверху побледневшее, искаженное лицо, дрожала и слушала.

— Не скажу! не скажу! убейте... убейте, — кричал кто-то наверху прерывающимся голосом.

У меня, тринадцатилетнего мальчика, шевельнулись волосы на голове. Я хотел убежать, но Майя взяла меня за руку и зашептала:

— Они не придут сюда! Это папа и мачеха бьют бабушку, бедную бабушку.

— За что? — шепотом спросил я.

— Они хотят узнать, где спрятаны мои деньги... мама оставила их мне.

Наверху шум прекратился, замолкли стоны и крики.

— Бедная бабушка... она лежит теперь там... — вздохнула девочка, но вдруг встрепенулась, и, подняв кверху пальцы, шепнула:

— Она поднимается... ползет к двери... ушла...

Я не знал, что мне делать. Хотелось уйти, так как страх не покидал меня, но мне стыдно было оставить Майю и я решил дожидаться, пока кто-нибудь придет.

Мы начали разговаривать, и девочка рассказала, что ее папа — немец, капитал торгового парохода; он женился на индуске из Траванкора, дочери знатного раджи, и увез ее в Россию.

— Мама умерла, — сказала девочка. — Она все плакала и называла себя несчастной. А когда уже совсем умирала, позвала бабушку и дала ей что-то для меня. Бабушка спрята- тала, и папа бьет ее, бьет и мачеха, чтобы она им отдала, но

бабушка не дает. Только Майе отдаст она это, когда Майя вырастет.

— Тс... тс... — приложила девочка палец к губам. — Кто-то идет сюда...

Теперь и я различал тихий шорох медленно приближающихся шагов.

— Это бабушка! — радостно крикнула девочка и бросилась к двери.

Седая старуха с такими же горящими глазами, едва держась на ногах, вошла в комнату и со стоном почти упала на диван.

Она тяжело дышала, и по ее лицу, покрытому синяками и ссадинами, медленно катились тяжелые капли крови. Из-под опущенных век глаза ее смотрели на меня.

Наконец она шевельнулась и сказала что-то Майе на непонятном мне языке.

— Подойди к бабушке! — дотронулась до моей руки девочка. — Бабушка говорит, что если ты исполнишь ее просьбу — тебя Бог наградит большим счастьем. Если обманешь — убьет Он тебя. Снеси записку! Тут написано, куда...

— Снесу, — сказал я решительным голосом. — Сейчас же снесу...

Не успела Майя перевести моих слов, как в коридоре раздались голоса и шаги. Я поспешно спрятал письмо в карман и направился ж двери.

— Вы куда? — спросил меня высокий, толстый мужчина с красным лицом.

— Домой! Урок кончен! — сказал я.

— А! И вы здесь? — почти крикнул он, увидев старуху.

В его голосе было столько злобы, что я двинулся, чтобы защитить старую индуску.

Но он сразу лее овладел собой и, улыбаясь, сказал:

— Бедненький! Вы, верно, напугались? Это — сумасшедшая старуха. Мы ее жалеем и не отдали в больницу. Она иногда убегает из своей комнаты, и тогда может напугать.

...В тот же вечер я снес письмо по назначению. Меня встретил мусульманский мулла, почтенный, важный старик. Он прочел письмо, печально покачал головой и, протягивая мне руку, сказал ласковым голосом:

— Доброе дело! Очень доброе дело! Спасибо большое.

На другой день, вернувшись из гимназии, я нашел записку с отказом от урока в Измайловском полку. Через несколько дней я был у черного дома и узнал, что жильцы оставили его и уехали из Петербурга.

Вот что напомнил мне сегодня случайно брошенный на меня взгляд красивой дамы.

Глаза ее горели, как у той девочки-индуски...

— Майя! Не вы ли это?

ЧЕЛОВЕК БЕЗ БИОГРАФИИ

Елена Львовна вздрогнула.

В шуме голосов, сквозь смех гостей и звуки пианино, до нее донесся случайный обрывок разговора, всего три слова:

— ...человек без биографии...

И всплыло воспоминание. Оно никогда не приходило раньше и вдруг вспыхнуло, горячее и острое.

Она только раз изменила мужу. Случайно и мгновенно, не борясь и не раздумывая.

Тогда, весной, в отсутствие мужа, она часто бывала у своей институтской подруги, Кати фон Батц. В ее гостиной всегда собирались актеры, народ шумный, самоуверенный и самовлюбленный. С ними Елене Львовне было скучно, и она удивлялась своей подруге, забавлявшейся в этом обществе и чувствовавшей себя отлично.

Елена Львовна очень обрадовалась, когда у фон Батц появился новый гость.

Он только что приехал из-за границы.

Роман Евгеньевич Арпов, уже седеющий брюнет, обладал изящной и стройной фигурой, говорил с увлечением, умел смешить и касаться нежных струн души.

После нескольких встреч (Елене Львовне казалось, что это было вчера, хотя с того дня прошло около восьми лет) он попросил разрешения проводить ее домой.

Она согласилась, и они поехали.

Фон Батц сделала тогда все, что от нее могло зависеть.

Она, мило жеманясь, погрозила Елене Львовне пальчиком и сказала:

— Смотри, — мужу нажалуюсь! Не увлекись, — Роман Евгеньевич известный сердцеед!

Уже начинались мутные, блеклые ночи, — предвестницы «белого безумия», — как называл петербургские белые ночи Роман Евгеньевич. И, заговорив о безумии, он поцеловал своей даме руку и твердым, таящим в себе повелительную просьбу голосом сказал:

— Разрешите раньше календаря быть безумным и молить вас согласиться прокатиться на «Стрелку»!

— Очень рада! — тотчас же согласилась она.

Теперь Елена Львовна почти уверена, что до самого взморья они не обменялись ни одним словом. Каждый думал свое, думал спокойно, чувствуя лишь обычную усталость городского жителя.

У «Стрелки» они оставили пролетку и пошли пешком.

Вдали, ниже серого и тусклого небосклона, виднелась белесая полоса воды.

В ней лениво копошились ползущие по небу серые и однообразные облака.

— Вы видите этот пейзаж? — вдруг спросил Роман Евгеньевич и указал рукой на море. — Отвернитесь и сразу все исчезнет, все забудется... Это — моя жизнь.

— Как так? — удивилась Елена Львовна. — Вы такой...

Он прервал ее.

— Не говорите! — умоляюще шепнул он. — Я знаю, — так все говорят. «Умный, образованный, талантливый, изящный и т. д., и т. д. Перед вами вся будущность, широкий путь». Но они не знают, никто не знает, что я — «человек без биографии»... Это значит: раб своих страстей, вечный странник-искатель! Что будет со мной завтра? Куда толкнут меня мои прихоти? Кто завтра — мой повелитель? Никто, и даже я сам, не может ответить на этот вопрос!

Он вздрогнул и, помолчав, продолжал:

— В этом мое проклятие! Я ничего не умею делать, ни к чему не привык, ничего толком не знаю и не люблю. Я только чувствую и угадываю. Мне нужен толчок, глубокая симпатия, искреннее чувство, чтобы я вдруг пожелал начать свою биографию. Для этого надо лишь оставлять следы. Пусть это будут жалкие, ничтожные следы, пыль, никому не нужные поступки, намеки на какую-то работу, и — биография готова!..

В голосе Романа Евгеньевича дрожали слезы и он, бледный и вдохновенный, крепко сжимал свои холеные пальцы.

— О, нет! — участливо воскликнула Елена Львовна и нежно прикоснулась к его руке. — Вы, при ваших дарованиях,

могли бы оставить заметные, быть может, исторические следы!

Он усмехнулся и морщина горечи легла около рта.

— Вы так сказали? — спросил он и, нагнувшись, пристально заглянул ей в глаза. — Если бы вы посетили мою квартиру, я бы показал вам альбом с теми записями, которые сделаны в нем выдающимися женщинами. Сколько лестного, светлого и хорошего предсказывали они мне!

2

Когда они были в городе, он, не спрашивая уже, привез ее в себе. Она не сопротивлялась и поднялась под руку с ним в третий этаж.

В маленькой квартире, увешанной мягкими драпировками, скрывающими окна и двери, с глубокими, удобными диванами, козетками и креслами, с картинками фривольных французских буколиков и пушистыми коврами, пахло духами и дымом дорогих сигар.

Роман Евгеньевич усадил ее в кресло и принес альбом.

Эта толстая книга в красном кожаном переплете была вся исписана чрезвычайно разнообразными почерками.

Имена «выдающихся» женщин были совершенно неизвестны Елене Львовне.

Француженки, немки, англичанки писали короткие или длинные фразы, не имеющие, однако, никакого отношения к их разговору на «Стрелке».

Роман Евгеньевич взял у нее книгу и, грустно взглянув на свою гостью, произнес:

— Вот видите...

Потом он сел за пианино и начал играть и мелодекламировать.

Голос у него был звучный и гибкий, искусно подчеркивающий смысл произносимых слов. Арпов выбрал хорошие вещи и исполнял их мастерски. Чувствовался большой художник.

И вдруг он зарыдал, а потом встал и бросился к ногам Елены Львовны.

— Вы — такая чистая, святая, недоступная! Вам открыл я свою душу! Я ведь артист... Настоящий, могучий талант таится во мне, и никто — никто не поможет мне найти себя!

Потом... Что было потом?

Елена Львовна сжала себе виски и поморщилась.

Дальше было очень нелепо. Она гладила его волосы, а он целовал ее ноги, руки и шею.

Вернулась она от него домой к завтраку.

Ей не было ни стыдно, ни жалко. Только какая-то пустота, ненужность залегли в мозгу и сердце.

Она больше не встречала Романа Евгеньевича и забыла бы его к вечеру того же дня, если бы не одна неприятность, минутами вызывавшая в памяти воспоминание о холостой квартире Романа Евгеньевича.

Дело в том, что у нее пропала в этот вечер подаренная мужем брошь с редким изумрудом.

Так как ни Катя фон Батц, ни Арпов не нашли броши у себя, так как не прислали ее, то Елена Львовна решила, что она потеряла брошь на островах.

Однако, и эта неприятность не заставила ее долго помнить Романа Евгеньевича. Елена Львовна забыла его бесследно, и никто не вызывал в ней даже случайных, мимолетных воспоминаний о нем.

Он был прав: как Финский залив — тусклый и мелкий, — он забывался сразу и легко...

3

Но когда произнесли его слова: «человек без биографии», Елена Львовна вздрогнула и насторожилась.

Все события с поразительной отчетливостью промелькнули перед ней.

Она медленно встала и подошла к молодому прокурору, рассказывающему что-то небольшому кружку гостей.

— Он жил на счет своих любовниц. Они тратились на него безрассудно. И кого-кого только не прибрал к рукам этот тип! В конце концов, он так обнаглел, что решился на явное преступление. Он задушил пожилую купчиху, питавшую к нему нежные чувства, так как знал, что в этот день при ней была весьма крупная сумма. Его арестовали и при допросе он заявил: «Зовут меня Роман Евгеньевич Арпов — “человек без биографии”. Теперь, впрочем, начнут писать мою биографию...»

Порочный, жестокий тип! Он задушил свою жертву в то время, когда, стоя на коленях перед ней, говорил нежные слова и целовал ее. Он сам показал это на допросе...

Елена Львовна вспомнила, что и перед ней он стоял на коленях и целовал ее ноги и руки. Неприятный холодок забрался ей в грудь.

— Ужас в том, — продолжал прокурор, — что везде и всегда среди здорового общества живут и заражают его преступники. Они повсюду с нами: в гостиных, в церкви, в театре, на улице... Они пробираются в наши семьи, и никто не огражден от них!

Елена Львовна, побледневшая и приниженная, отошла от рассказчика.

Ее догнал муж и, заботливо усадив, пожал ей руку и сказал:

— Не волнуйся, — бывают худшие преступления. Поделом развратнице! Ведь, в конце концов, только развратница и грубая, чувственная женщина под внешностью светского человека не почувствует ничтожества и порочности!

Елена Львовна вся съежилась и втянула голову в плечи.

Словно пощечина горела теперь на ее лице и выжигала клеймо позора. самого жгучего позора, когда знает о нем только сам опозоренный.

БАРХАТНАЯ МАСКА

Живет на земле непонятое горе,
Дрожат невыплаканные слезы....

(Уайльд).

I

— Здесь живет княжна Туровская? — спросил управляющий загородного сада Арнольдов у отворившей ему дверь горничной.

— Здесь, пожалуйста! Как доложить?

— Скажите: директор Арнольдов.

Войдя в небольшую светло-розовую гостиную, Арнольдов опытным взглядом окинул комнату. Небогатая, но стильная мебель, несколько очень хороших эскизов известных художников, прекрасное пианино и необычайная чистота показали странным старому театральному агенту, и он с непривычным любопытством ожидал появления хозяйки.

Вскоре послышались шаги и шуршание шелка. Высокая фигура молодой женщины в скромном черном платье появилась в дверях. Арнольдов поднялся и невольно, ниже чем обыкновенно, наклонился, целуя протянутую ему руку.

— Директор Арнольдов, княжна! — рекомендовался он. — Театральное бюро Суховой известило меня о вашем желании выступить на летней сцене на амплуа лирической певицы. Мой театр «Эльдорадо» к вашим услугам. Разрешите послушать вас?..

— С удовольствием, — ответила звучным голосом княжна. — Присядьте, господин Арнольдов.

Непринужденным движением руки она указала ему на стул и подошла к пианино.

Пока княжна перелистывала ноты, Арнольдов с видом знатока разглядывал стоящую перед ним женщину.

Его быстрые чувственные глазки скользнули по высокой, величественной фигуре княжны и остановились на ее ве-

ликолепной, царственно-гордой голове, увенчанной, как короной, просто свернутой светло-русой косой.

— Королева! — шепнул Арнольдов, и плотоядная улыбка тотчас же зазмеилась на его подвижном актерском лице.

«Такая и без голоса, если умна будет, карьеру сделает!» — думал он, вынимая сигару и осторожно откусывая кончик.

Княжна взяла несколько аккордов, и вслед за ними полились задушевные слова русской песни:

Ах ты, ноченька, ночка темная,
Ночка темная, ночь осенняя...

Металлический голос, дрожа скорбью и рыдая, выводил слова простой песни, полной тоски, безграничной, как Россия, и грусти, живущей в темных избах, в полях и лесах, где незримо, молча скорбит свободное, куда-то рвущееся сердце народа, влившего в свои песни беспредельное горе или неудержное, отчаянное веселье.

Когда замерли последние ноты, Арнольдов, непритворно восхищенный, бросился к княжне и, целуя ее руки, говорил:

— Королева! Королева! Да вы настоящая певица... оперная! Какая школа! Что за техника!

— Да, — грустно улыбнувшись, ответила княжна, — я училась у лучших французских и итальянских учителей. Работала у Гранье в Париже, а потом пела в Милане.

— О, моя прелесть! — воскликнул директор, но тотчас же осекся.

На него глядели холодные серые глаза, а в них было столько презрения и гадливости к нему, директору «Эльдорадо», что он даже потупился.

«Холодна, — подумал Арнольдов, — очень холодна. Если так взглянет — всех гостей разгонит».

И он уже с тревогой взглянул в лицо певицы.

Но теперь в ее глазах он прочел лишь деловитую холодность и почувствовал, что для этой женщины не нужно ни защиты, ни обычного притворства. Одним ударом своих

гордых, серых глаз она может остановить даже убийцу.

— Вы меня слышали, господин Арнольдов, а потому скажите, могу ли я рассчитывать на ангажемент? — спросила княжна.

— Сейчас же, сию минуту! — заторопился Арнольдов, вытаскивая из кармана сюртука контрактные бланки. — На первое время я назначу вам, княжна, 800 рублей в месяц...

— Благодарю вас! — сказала певица, и глаза ее блеснули радостью. — Но я должна поставить два условия...

— Какие? — оглянулся на нее директор, начавший уже заполнять бланк.

— Я, как вам известно, женщина из общества, — сказала певица, — а потому я не буду выходить в зал и кабинеты и петь буду всегда в маске.

Арнольдов подскочил на стуле.

— Как же возможно не выходить в зал и не принимать приглашений в кабинет?! — бормотал он.

— Таковы мои условия! — не допускающим возражений голосом сказала княжна. — Не бойтесь, однако! Я уверена, что публика будет ходить слушать меня. За это говорят мой голос и мой репертуар. Кроме того — певица в маске... Ха-ха-ха! — засмеялась она сухим, недобрый смехом. — Ведь это ново!..

— Все это так... но, однако... — бормотал Арнольдов, соображая, сколько можно скинуть с назначенной платы. — Княжна, я не могу при этих условиях дать вам более пяти-сот...

Княжна Туровская задумалась, потом подняла на Арнольдова свои холодные глаза и скользнула по его лицу тяжелым, презрительным взглядом.

— Согласна, — сказала она, — согласна, потому что мне и дочери нечего есть!

— Как, — переспросил директор, — нечего есть! Вам и дочери? А обстановка... а картины?..

— Я не могу лишить свою дочь всего того, к чему она привыкла в доме своего отца.

— Простите, княжна, — спросил Арнольдов, становясь вдруг серьезным. — Мне говорили, что вы замужем за очень известным лицом.

— Да! Но я развелась с мужем и живу самостоятельно, не завися ни от кого, — ответила княжна. — Поэтому я ношу свою девичью фамилию, а вас очень прошу хранить мою тайну. Я для публики и для всех — «Бархатная маска»...

II

Когда антрепренер ушел и княжна Туровская осталась одна, она начала быстро ходить по гостиной, сжимая в руке выданный ей аванс и чувствуя, как что-то гадливое и оскорбительное заползло к ней в душу.

— Княжна Туровская в кафе-шантане! — произнесла она вслух и вдруг, схватившись за голову, застонала.

Но княжна смолкла, так как в комнату вошла маленькая девочка и капризным голоском спросила:

— Мамачка, а сегодня мы поедем покупать конфеты?

Княжна вздрогнула и, проведя рукой по сухим глазам, ответила:

— Поедем, Ниночка! Только я раньше к бабушке съезжу.

— На могилку к бабушке? — переспросила девочка.

— Да, на могилку. Хочу цветов посадить немного. Я скоро вернусь, Ниночка, а ты здесь пока с Аннушкой поиграй.

Быстро одевшись, княжна вышла из дому.

III

Тихо на кладбище. В знойном, неподвижном воздухе дремлют высокие тополя и липы и бросают тень на кусты сирени и бузины, окружающие молчаливые памятники и усыпальницы.

Между двумя мрачными часовнями, среди целого леса памятников, у широкой дорожки высится красивая, из серого мрамора колонна с крестом наверху. На цоколе портрет мужчины с надменной львиной головой. Несколько ступеней ведет к колонне, и здесь на скамье за изящной железной решеткой сидит в глубоком раздумье молодая женщина.

Это — княжна Туровская.

Она вся ушла в свои мысли и не слышит, как шепчутся, глядя на нее, редкие прохожие, не замечает сторожей, сдержанно постукивающих палками по деревянным мосткам и низко ей кланяющихся.

Скорбная улыбка скользит по лицу княжны. Она медленно поднимает тяжелый взгляд на портрет, вделанный в памятник, и шепчет:

— Отец, твоя дочь будет петь в кафе-шантане...

И повторяет, с болезненным интересом вслушиваясь в значение слов:

— ...В кафе-шантане...

Но лицо на портрете сурово. Холодно и зорко глядят глаза. Такие же, как у нее. Длинные, с немного опущенными веками и тяжелым, гордым взглядом.

— Ты сердисься? — уже вслух спрашивает она. — Ты, быть может, почувствуешь брезгливость, когда я лягу здесь, рядом с тобой, в могиле?..

И княжна ударяет ногой в песок, покрывающий своды склепа.

— Ну, что ж? — говорит она, будто беседуя с кем-то невидимым. — Сердись, отец, стыдись меня! Но ты будешь несправедлив... жесток, очень жесток! Я ни разу не поступилась своей совестью, ни разу не была рабой... вещью. И теперь не буду!..

Она сжимает свои руки и замолкает, видя невдалеке приближающихся людей. Но они свернули в боковую аллею, и княжна вновь глядит в лицо отца и говорит грозным, суровым голосом:

— Ты сам виноват, что меня изломала жизнь! Ты... только ты! Тебе не было дела до того, что думала и чувствовала

я и что делали люди с моей душой. Ты видел меня всегда нарядной, сытой и капризной, и ты был спокоен. Тебе казалось, что твоя безумная работа, днем и ночью, не пропадала даром. Княжне Туровской все завидовали.... Но ты ни разу не спросил меня, счастлива ли я, о чем мечтаю, к чему стремлюсь...

Княжна сводит брови и сразу делается жестокой и беспощадной.

— И вот, — шепчет она, — за твои деньги люди дали мне никому не нужное светское воспитание, но не дали ничего для борьбы с жизнью... Теперь для меня нет иного выхода, и я начинаю бороться тем, что дала мне природа, — голодом...

Слезы обжигают глаза княжны, и она сквозь их туман видит львиную голову отца и, протягивая к нему руки, тихо спрашивает:

— Ты, быть может, предпочтешь, чтобы я умерла?..

Молчит портрет, молчит земля и, измученные зноем долгого дня, молчат птицы, деревья, камни...

Княжна медленно поднимается, опираясь о спинку скамьи, торопливо крестится и, заперев за собой решетку sklepa, уходит с кладбища, где так тихо и спокойно и где, торжествуя победу над жизнью, спят в земле жутким каменным сном молчаливые, таинственно-мудрые люди.

IV

В загородном саду «Эльдорадо» дивертисмент в полном разгаре.

Уже за полночь. Гости веселятся, смеются шумно, громко говорят, шутят.

Среди огромных пестрых шляп с целыми горами перьев, газа и лент мелькают яркие пятна живых цветов, предлагаемых цветочницами.

— Купите розочку! — звенят юные голоса и вскидываются притворно-невинные зовущие глаза.

Никого не слушают.

Крикливые, безголосые француженки и немки с превеличенно нескромными телодвижениями и странными, уродливыми танцами, фокусники, акробаты и куплетисты мелькают на сцене и исчезают, сопровождаемые снисходительными хлопками и криками «браво».

На них никто не смотрит и замечают их только тогда, когда они под оглушительные звуки оркестра удаляются за кулисы. Тогда добродушно настроенные посетители кричат им «браво» и аплодируют.

Здесь царит веселье, зажженное вином и поддерживаемое вкусными блюдами, светом, шумом, общей непринужденностью, покорно-обещающими улыбками женщин, их блестящими, оправленными в темную синеву глазами.

И вдруг все смолкает.

На эстраде высокая, величественная женщина в черном, сверкающем пайетками платье и в черной бархатной маске,

Ах ты, ноченька, ночь темная,
Ночка темная, ночь осенняя... —

несутся сильные, врывающиеся в душу звуки.

— Какой голос! Что за чувство! — шепчут в зале и вновь затихают.

Не брякнет нож о тарелку, не зазвенит стакан. Не слышно смеха и разговоров. Все повернулись к сцене, все жадно слушают простую, понятную песню, все во власти чарующего голоса оригинальной певицы в маске.

Даже официанты замерли, прислонившись к стенам и колоннам зала, и забыли следить за посетителями; в проходах стоят, опустив вниз свои букеты, молодые цветочницы, и не колышутся огромные шляпы дам.

Все слушают. Все понимают, что эта неизвестная им певица завладела слушателями, оторвала их от пошлого веселья, от беспечной радости и бросает им в душу могучий призыв, звучащий жутью среди нездорового возбуждения в вихре опьянения, продажных ласк и циничных речей.

Буря аплодисментов, крики, вызовы и любопытные вопросы.

— Кто такая?..

Хватают программы. Читают:

— «Бархатная маска»?!

— Немного узнаешь!..

— Ах, этот Арнольд! Всегда придумает новый трюк!..

— Молодец! Это настоящий «bussinesman»...

— Посмотрим, какова без маски!..

— Фигура какая! Заметили?

— Выйдет в зал... увидим. Можно пригласить.

— Да! Это не Адьфонсиночка и Delaware. Настоящая певица.

— Интересно! Какая-то тайна...

— Пикантно! Но какая школа! Под стать итальянцам!..

Требования повторений не умолкают. Целые охапки цветов летят на эстраду и лежат у ног певицы. Она поет песню за песней, романс за романсом, и лишь только зазвучит ее голос, — все смолкает в этом зале, знающем только нетрезвый шум, бесстыдные песни, нескромные речи, улыбки.

Но уже поздно... Пора выходить следующим «номерам». Публика требует бисов. Стук, крики, вызовы...

— Бога ради! Спойте еще что-нибудь! — просит Арнольд.

Холодный взгляд скользит по нему и певица опять на эстраде.

Остановилась, гордая и спокойная.

Все смолкло. Певица не знает, что петь. Аккомпаниатор повернул к ней голову и ждет.

Вдруг раздается громкий мужской голос:

— «Гадание» Мусоргского.

— «Гадание»! «Гадание»! Bravo, «Бархатная маска»! — подхватывает публика.

Княже, тебе угрожает опала
и заточенье в дальнем краю.
Отнимется власть, и богатство,
И знатность навек от тебя.

Ни слава в минувшем,
ни доблесть, ни знание —
Ничто не спасет уж тебя, —
судьба так решила.
Узнаешь, мой княже, нужду
и лишения, великую страду-печаль.
В той страде, в горячих слезах,
познаешь всю правду земли!..

— поет металлическим голосом «Бархатная маска» и еле заметным движением склоняется перед публикой.

Гордая и равнодушная, смотрит она сквозь прорези маски на толпу и слышит восторженные крики. Аплодируют все — публика, официанты, артисты, сам Арнольд, оркестр.

— Бис! бис! — стоит вопль в зале.

В той страде, в горячих слезах,
Познаешь всю правду земли!..

— бросает певица еще раз в толпу последнюю фразу «Гадания» и, холодно блеснув глазами, уходит.

В зале ожидание. Вот сейчас выйдет таинственная певица. Выйдет без маски. Ее легко узнать по величественной фигуре, по гордой голове и надменным губам.

Но певица не появляется. Лакеи отказываются передать ей приглашение от желающих чествовать дебютантку ужином в кабинете.

— Не такая-с она, как все! — объясняют они. — Барыня, настоящая барыня! Никто ее без маски не видал...

Любопытство растет. Быстро родятся и сменяются догадки и подозрения.

— Бархатная маска! Бархатная маска!

Она — злоба дня. О ней говорят все; пишут в газетах. Все стремятся ее увидеть...

— Борис Александрович! — кричит помощник режиссера, поймав Арнольдова за кулисами. — Вот тут карточка для «Бархатной маски». Этот господин непременно хочет видетсья с новой артисткой!

— Черт вас возьми! — закричал директор. — Ведь сказано, что этого нельзя! Таковы условия! Певица ни в зал, ни в кабинеты не выходит.

— Да я-то знаю, — оправдывался помощник режиссера, — а вот господин настаивает. Посмотрите хоть карточку, — кто такой. Может быть, примет его «Бархатная маска».

Арнольдов взглянул на карточку и задумался.

— Может быть, и примет. Человек полезный... — пробормотал директор и постучался в уборную певицы.

— Войдите! — раздался голос.

Открыв дверь, Арнольдов увидел, что певица уже одета и перед зеркалом накидывала на голову капор, скрывающий лицо, спрятанное под маской.

— Королева! — просительным голосом начал директор. — Вот тут один господин хочет видетсья с вами. Полезен он и вам, и нам... Может быть, примете?

Она выпрямилась, и глаза ее вдруг сделались прозрачными и беспощадными.

— Уже... начинается?! — спросила она презрительным тоном.

— Да я бы не посмел, если бы этот господин не сказал, что вы его примете непременно... — путался в словах Арнольдов, протягивая ей визитную карточку.

«Бархатная маска» взяла карточку и прочла:

«Я сомневался, вы ли это, но, когда я подсказал вам “Гадание”, — я уверен, что знаю вас. Если возможно, то примите меня».

На оборотной стороне карточки стояло:

«Сергей Анатольевич Роцин».

Певица вскрикнула и схватилась за грудь.

— Пусть этот господин подождет меня у выхода. Я сейчас буду! — произнесла певица, делая над собой усилие, чтобы успокоиться.

И, когда ушел Арнольдов, она начала быстро стирать с лица остатки грима и мыть руки, как бы боясь осквернить ими что-то очень чистое и дорогое.

VI

— Княжна... виноват... графия! Я не ошибся — узнал вас! — говорил' взволнованным голосом Рощин, вглядываясь с острым любопытством в глаза и лицо певицы.

— Да, Сергей Анатольевич, узнали, хотя прошло уже восемь лет со дня нашей разлуки! — произнесла она, усаживаясь в пролетку.

— Разрешите мне проводить вас! Я хочу отомстить вам, графиня, за прошлое, доказав вам, что я был прав...

— Называйте меня по-прежнему княжной... Я развелась с мужем...

Рощин вздрогнул и еще пристальнее начал всматриваться в ее лицо и глаза, говоря сдавленным голосом:

— Вы помните, как обещали вы мне иллюзию... многого... многого? Я же хотел знать наверно, что ждет меня впереди... Вы тогда испугались обязательств и ушли от меня...

— Вы были ригористом... — шепнула княжна.

— Я таким был и таким же остался! — воскликнул он. — Мой ригоризм выработан моей жизнью... Я тогда предсказал вам, что вы разменяетесь на мелочи, забудете гордость человеческую, будете жить в омуте сильных ощущений и острых переживаний, граничащих с падением.

— Помню! — вырвалось у нее. — Я помнила об этом всю жизнь и не разменялась, не пала ни разу...

— А теперь?! — спросил он и разразился злобным смехом. — Вы смеетесь надо мной! Княжна Туровская поет перед пьяной, распущенной публикой «Эльдорадо»!..

Он с силой сжал свои руки так, что пальцы хрустнули.

— Прихоти и капризы толкают вас в пропасть, — угрюмо взглянув на нее, сказал Рощин.

— Это не прихоть, Сергей Анатольевич! — шепнула княж-

на. — Мне нечего есть...

У него занялось дыхание и кровь ударила в голову.

— Нечего есть?! Вам? Вы были так богаты... — бросал он короткие, тревожные вопросы.

— Была... — ответила упавшим голосом певица. — А теперь... пою в «Эльдорадо»...

Рощин молчал, охваченный вихрем воспоминаний и впечатлений, отравленный горечью ее голоса.

— Вы меня осудите за это, — зябко передернув плечами, сказала она, — я знаю! Для вас непонятен этот путь. «Есть другие способы заработка!» — скажете вы. О! я знаю... Но они не для меня. Я ничего не умею. Умею только петь... и вот... пою.

Он весь съежился и чувствовал, как по его обнаженным нервам больно бьют ее простые, жутко-понятные слова. Рощин долго не мог оправиться и молчал.

— Молчите?! — засмеялась она злым, колючим смехом. — Молчите? Мне, быть может, придется еще и продаваться скоро! Да! Да! Продаваться... Или вы думаете, что мне лучше умереть, чем унижаться до подмостков «Эльдорадо»?!

В голосе ее зазвучал вызов.

Рощин взглянул в ее серые, давно забытые глаза, и из них глянули на него презрение и холодная ненависть.

Он остановил извозчика, сошел с пролетки и, поднимая шляпу, сказал:

— Да, вам лучше умереть!

Через минуту он скрылся за углом большого дома...

VII

Княжна Туровская знает, что делает.

Она разделась. Написала несколько писем: среди них одно к графу, другое к Рощину.

Лицо княжны бледно, но спокойно. Глаза холодно мерцают под суровыми, грозными бровями.

Открыла шкатулку и вынула револьвер.

«Вам лучше умереть!»! — вспомнилась ей фраза.

— Ха-ха-ха! — неожиданно весело засмеялась княжна.
— Он думает, что умереть труднее, чем жить так, как живу я...

Рука певицы потянулась к револьверу и еще ближе и суровее сдвинулись брови, образовав грозную поперечную складку на лбу.

— Барыня! — раздался шепот за дверью. — Барыня...

— Аннушка, это вы? Что случилось? — спросила княжна и набросила на револьвер платок.

— У Ниночки-то будто жар! Уж не простудилась ли она, прости Господи? — шептала перепуганная Аннушка.

Через несколько минут княжна вернулась в гостиную и говорила горничной:

— Да, жар есть! Ну, ничего! Заработаю побольше, научусь новые песни петь, и поедem на дачу. Плохо детям жить летом в городе... Только вы, Аннушка, не говорите Ниночке, где я пою. Не надо! Пусть она не знает...

Когда горничная ушла, княжна спрятала револьвер в шкатулку и в мелкие клочки разорвала все письма.

Глаза ее горели беспокойным огнем, и княжна, заперев все двери, боясь разбудить Ниночку, пела вполголоса, разучивая цыганский романс, который мог понравиться в «Эльдорадо».

Говорят — я опьянела.
Но вина я не пила,
И кому какое дело,
Что я стала вдруг пьяна?..

Княжна Туровская пела, перебирая клавиши пианино и слыша, как кто-то плачет внутри нее и безнадежно рвется, скованный, обессиленный...

«Вам лучше умереть»... — шепчет знакомый голос.

— Не могу! — отвечает со стоном певица. — Не теперь... потом...

И снова играет княжна, не замечая вползающего в окна рассвета, и тихо, чуть слышно поет, тревожно прислу-

шиваясь, не стонет ли в спальне Ниночка, не плачет ли
она...

Нет, не хмель меня дурманит,
Кружит голову не он...

ПЕРУНОВО УРОЧИЩЕ

Художник Брянцев целую неделю жил в Залужье. За работу он пока не принимался, но уже чувствовал, что приближается время давно испытываемого захватывающего увлечения, глубоко радовался и трепетно ждал.

Несмотря на его тридцать пять лет, Брянцева утомила жизнь. Всегда спешная и беспорядочная работа по редакциям иллюстрированных журналов и тайный страх за покинутое настоящее искусство терзали художника, и он, скопив немного денег, поехал посмотреть «природу» в своих родных местах в Псковской губернии.

Брянцев был суеверен и думал, что воздух, которым он дышал в детстве, вернет ему юношеские силы. Но, кроме этой смутной уверенности, что-то влекло его волнующим предчувствием в болота и леса, раскинувшиеся среди бесчисленных озер и речек Залужья.

Он поселился в доме лесника, на самом выезде из деревни, на опушке леса. Выбрал он эту избу потому, что из окон ее открывался вид на болотистую равнину, окаймленную невысокими холмами и изрезанную целой сетью речек и глубоких ручьев. Немного сбоку виднелся помещичий сад с выглядывающей из-за деревьев зеленой крышей дома и низенькой колокольной старой церковки.

Смотря из окна, Брянцев вспоминал свое детство. Отца, хлопочущего, бьющегося с долгами и окруженного крепостьями, и мать, тихую, молчаливую, словно ждущую большой и непоправимой беды. Помнил он старый дом со скрипящими половицами и страшным чердаком, где всегда по ночам кто-то гудел и стонал; помнил няньку Антонида и пастуха Петю, придурковатого старика, игравшего на берестяной дудке и больно щипавшего ребятишек.

Многое еще вспоминал художник, глядя на утренний туман, ползущий над болотами и уходящий в лес.

В такое же утро, еще дремлющее в мгле, но уже предсказывающее близящийся зной, Брянцевы покидали Залужье.

Это случилось неожиданно, в то время, когда рожь уже наливалась, и близилось время жатвы...

Брянцевы все оставили в Залужье, и с той поры никто из них не возвращался сюда. Старики умерли, а молодого потянуло на родную землю.

Он уходил из дома с утра и возвращался к закату солнца, голодный, усталый, но как-то странно возбужденный, с растущей жаждой работы. Особенно часто он бродил по топкой тропинке вдоль «Пилкина ручья». Обрывистый болотистый берег, будто срезанный ножом, висел над глубокой, прозрачной водой. На дне ручья чернели старые-пре-старые коряги, мохнатые от тины, и тянулись своими ветвями, похожими на напряженные руки со скрюченными и жадными пальцами.

Кругом, сколько хватал взор, тянулась от «Перунова урочища» трясина. Она раскинулась среди кочек, густого лозняка и подошла вплоть к «Заповеднику». Так звали здесь лес, узким клином врезавшийся в болота. Старые ели и осины переплелись ветвями, обросли буро-зеленой бородой лишая; синеватый сухостой просвечивал своей мертвой бледнотой сквозь темные лапы елей; валежник и частый подлесок поднялись до половины стволов, и «Заповедник», заглохший и позабытый, медленно умирал, как доживающий свои последние дни одинокий старик.

Иногда, под вечер, когда Брянцев стоял среди болот, осоки и кочки, из трясины, от самого «Заповедника» кто-то подавал голос.

Зыбун тихо цокал и вдруг начинал шептать тайные, словно на духу, слова.

Потом и лес говорил, и травы, и в кустах кто-то шелестел и неясно бормотал.

Когда же солнце падало за помещичий сад, и над болотом тянул холодок, поднимая испарь, — громкие всплески звенели вокруг.

Брянцев подходил к самому берегу ручья и, не двигаясь, смотрел.

Он ждал, что выплывут к нему неведомые существа и повторят забытые с детства сказки, станут шептать о ста-

рых камнях, кучей сложенных на меже у моста, о большом кургане за «Заповедником» и о тех черепах человеческих, которые падали в воду из подмытого берега.

Глаза художника среди коряг отыскивали длинное, пятнистое тело огромной щуки. Она каждый вечер приплывала сюда и, громко плеснув водой, таилась за черным стволом с раскинувшимися во все стороны ветвями. Щука видела Брянцева и зорко следила за ним, поворачивая круглые, злые глаза и медленно шевеля плавниками. На спине у нее росла бурая тина и спускалась на лоб. Рыба была очень старая и вся темная, даже с боков, а пятна сделались черными, будто выжженные огнем.

Брянцев решил, наконец, на завтра приняться за работу. Было воскресенье. К вечеру он добрался до «Заповедника», и, усталый, задремал. Разбудил его какой-то назойливый и будящий тревогу звук.

Он, не открывая глаз, прислушался и вдруг все понял и вскочил. Была ночь.

Прямо перед ним, по ту сторону болот, за помещичьим садом плясало и взмахивало красными руками пламя. Багровое зарево металось по небу, то потухая, то вспыхивая. По воде и лугам бегали неясные, трепетные отблески, и из темноты выплывали то плесо, заросшее тростником, то кусты, то верхушки деревьев. Глухой, тревожный гул доносился до «Перунова урочища», но его покрывал жалобный и торопливый звон набата. Такой настойчивый зов был в ударах церковного колокола, что Брянцев стремительно бросился к гати и, попав на дорогу, побежал в сторону церкви.

Она стояла рядом с помещичьей усадьбой, но сюда еще не заглядывал художник, боясь воспоминаний, будящих в душе грусть и знакомое ему мучительное утомление.

Добежав, он мельком взглянул на дом, в котором родился, и не узнал его. Он был перестроен и окрашен в веселый желтый цвет.

Церковь пылала. Сторож уже сбежал с колокольни, и набат умолк. Несколько мужиков, растрепанных и полуодетых, таскали из болота воду ведрами и вбегали с ними внутрь здания. Молодой, тщедушный священник метался,

вынося церковные сосуды и иконы.

Брянцев бросился на помощь. Когда он вбежал в церковь, потолок над алтарем уже дымился и из щелей вырывались короткие, сразу гаснущие языки пламени.

В открытые царские врата видно было, как копошился в алтаре священник, пытаясь сразу унести несколько тяжелых книг и риз. Тут же мужики, пугливо озираясь, старались доплеснуть водой до потолка, где все чаще и чаще появлялся огонь и лизал почерневшие, сухие доски.

И вдруг потолок и вся стена сразу задымились и вспыхнули, как лист бумаги. Мужики закричали и побежали из церкви. Священник заметался, уронил на пол книгу, начал поднимать ее и бормотал что-то жалобное, заглушаемое треском горящего дерева и гудением огня.

Брянцев помог священнику справиться с тяжелой ношей. Когда же тот пошел к выходу, он остановился и оглядел церковь.

Все было жалкое и бедное. Темные иконы, почерневшие от времени, в грубых деревянных рамах; медные погнутые лампы и убогий иконостас — все это не привлекло внимания художника, но, когда он взглянул на горящую стену, он чуть не крикнул. Прямо на него глядело живое, прекрасное лицо. Окаймленное темной бородой, в ореоле мягких волос, переходящих в тихий свет, лицо это глядело на Брянцева мудрыми, ласковыми глазами, словно прощалось с ним и говорило о неизбежности и желанности конца. Лик Спасителя был прекрасен, а глаза тихо мерцали...

Брянцев понял, что лишь большой талант и молитвенный порыв могли создать такой образ Учителя Небесной Любви.

Когда из-за рамы вырвался огонь, художник бросился к иконе. Но он не мог достать до нее руками и, схватив табурет, бывший в алтаре, встал на него и начал раскачивать и тянуть к себе раму. Кругом уже падали головни и горящие угли, огонь обжигал руки и лицо Брянцева, под потолком гудело пламя и трещали доски, а художник еще долго возился, пока ему не удалось оборвать веревку и снять икону.

Он вынес ее на паперть и вздохнул, с трудом удержавшись от радостного крика.

Перед церковью стояла толпа людей. Испуганные лица, дрожащие губы и расширенные глаза придавали этим людям вид призраков. Когда ветер сбил пламя, эти призраки слились с густым, черным мраком.

Потом вдруг они вынырнули опять, уже кроваво-красные, с лицами, искаженными криком отчаяния и с копошащимся в глазах ужасом.

Брянцев сошел с паперти и бережно понес икону. Кто-то дотронулся до его плеча, и женский голос спросил:

— Куда вы несете Спасителя?

Художник очнулся и взглянул. Перед ним стояла молодая девушка в белой блузе и широкополой соломенной шляпе. Ее глаза с любопытством смотрели на покрытое копотью и обожженное лицо художника.

— Куда вы несете Спасителя? — повторила она свой вопрос.

Он помолчал, потом вдруг окончательно очнулся и ответил:

— В избу лесника, к себе... В давке могут испортить икону... Я боялся.

Крики становились жалобнее и переходили в стоны, люди плакали и причитали. Священник стоял на коленях и, истово крестясь, клал земные поклоны, крепко прижимаясь головой к сырой земле. Издалека доносились встревоженные голоса и шум шагов людей, бегущих через лес. Бежали люди и через топь. Там громко всплескивала вода, шуршала осока и жалобно кричал потревоженный на гнезде кулик.

Не оглядываясь и никого не замечая, Брянцев нес по узкой тропе икону. Встречавшиеся с ним люди сворачивали в сторону и, снимая шапки крестились.

Придя домой, художник поставил образ на столе и осветил его. Кроткий, примиряющий лик Спасителя был по-прежнему прекрасен и звал к другой, неземной жизни, светлой и не знающей тревог.

До поздней ночи просидел перед образом Брянцев, а потом встал на колени и долго молился. Давно забытые слова сами приходили и складывались в трогательные, простые и горячие молитвы.

Художник поднялся с просветленным лицом. Неотступная, всегда ощущаемая, как боль, тревога куда-то исчезла и сменилась тихой радостью, каким-то предчувствием близкого и большого счастья.

II

На другое утро с самой зари Брянцев сидел перед домом и на большом картоне набрасывал эскиз будущей картины.

Он увлекся работой и видел ее перед собой.

В туманном воздухе раннего утра пылает церковь. Уже рухнули крыша и колокольня. Через разрушенную переднюю стену, с стоящими еще обгорелыми столбами паперти, виднеется внутренность церкви. Царские врата открыты, и в дыму мелькает черная фигура священника с развевающимися и горящими волосами. Он несет тяжелое, окованное медными скобами Евангелие и торопится к выходу. С горячей стены, сквозь завесу из рвущегося пламени, глядит Спаситель. Уже дымится рама и холст, но глаза живут и смотрят кротко и мудро.

Перед церковью, пораженные видением, мужики и бабы упали на колени и боятся шевельнуться, не зная — радоваться ли им великою радостью перед чудом, или рыдать и отчаиваться.

А справа и слева раскинулся безмятежный покой болот с бродящими над ними зыбкими призраками туманов.

Брянцев рисовал, размещая на картоне толпу и намечая задний план, и с неудовольствием поднимал голову, когда слышал приближающийся стук колес и голоса людей.

Из избы выбежал, на ходу одевая куртку, лесник и крикнул Брянцеву:

— Барин едет!

На дороге, недалеко от избы, остановилась желтая тележка, запряженная парой серых лошадей. Из экипажа вышел высокий старик, сильно прихрамывающий и тяжело опирающийся на черный костыль с резиновым концом. За ним следом выскочила девушка в белом платье и мягкой шляпе с красным цветком у тульи.

Приблизившись к работающему художнику, старик поднял шляпу и сказал:

— Позвольте познакомиться! Я — Федор Аркадьевич Насонов, а это моя дочь — Лидия Федоровна.

Брянцев назвал себя и с улыбкой добавил:

— Простите, но я уже сразу покаюсь! Часть ваших болот и туманов я увезу с собой... конечно, на картине. Это все, что осталось у меня от моей родины!

Узнав, что Брянцев — сын бывшего владельца «Залужья» и родился здесь, Насонов вдруг растрогался и начал упрашивать художника переселиться к нему в дом, чем он окажет ему большую честь.

Брянцев не знал, что ответить помещику, и в смущенье взглянул на девушку.

Ее лицо было в тени и с боков закрыто полями шляпы, но он сразу узнал вчерашнюю незнакомку.

— Я виноват перед вами, Лидия Федоровна! — воскликнул художник. — Вчера я был неразговорчив и ушел, не представившись вам, но я был весь под впечатлением прекрасного образа Спасителя и той картины, которая постепенно вставала перед моими глазами. Я очень виноват!

Девушка взглянула на него большими, полными теплых бликов глазами.

— Вы себе представить не можете, — улыбнулся Насонов, — какую радость доставит Лидочке ваш отзыв о ее работе!

— Как? — всплеснул руками Брянцев. — Это вы писали?

— Да! — просто ответила девушка. — Но теперь я уже так не напишу. Когда я писала тогда Спасителя, — я молилась и плакала, а Он стоял передо мной...

Глаза Лидии Федоровны загорелись, и румянец покрыл ее смуглые щеки. Брянцев не мог отделаться от изумления и, пока Насонов разговаривал с лесником, он молчал, не сводя взгляда с милого лица девушки.

— Итак, едем! — сказал Федор Аркадьевич. — Ваши вещи привезет лесник. Подводу мы пришьем из усадьбы.

— Сейчас! — сказал Брянцев и, вбежав в избу, вынес оттуда образ и начал бережно укладывать его в экипаже.

В пути, до самой усадьбы, все молчали, будто боялись сказать неосторожное, ненужное слово...

Когда художник устроился в угловой комнате, выходящей окнами на «Перуново урочище», его позвали в столовую.

За завтраком каждый из них чувствовал потребность рассказать о себе все то, что делало бы его более знакомым и даже немного близким человеком.

Федор Аркадьевич сообщил Брянцеву, что не собирается получать доходы с Залужских болот, а купил имение через дворянский банк для ценза, так как хочет пройти в Государственную Думу. В успехе он почти не сомневался.

— Крестьяне будут за меня! — весело говорил он, стуча костылем. — Я им новые плуги и сенокосилки выписал, купил для обсеменения заграничную рожь и лучшую гречу. Теперь вот больницу устраиваю. Мы — друзья! И хоть меня в Думе будут, вероятно, величать лягушкой за то, что я появлюсь там из здешних болот, но это меня не смущает. Хочу я на старости сказать громко о том, о чем думаю добрых пятьдесят лет и что накипело на душе!

Рассказал Насонов и о том, что жена его года три тому назад умерла, а Лидочка после этого захворала, и ее увезли в Италию, где она увлеклась живописью.

Когда старик наговорился, Брянцев встал и сказал:

— У меня возник план, и я только не знаю, выполним ли он?

— Говорите, — обсудим! — предложил Насонов и похлопал художника по руке.

— Как бы восстановить церковь? Жалко мне, что погибла старушка! — сказал Брянцев.

— Построим новую! Дело не большое! — засмеялся старик.

— Ну, а мы с Лидией Федоровной ее распишем на славу! — радостным голосом воскликнул художник. — Сегодня же начнем!

Девушка быстро поднялась и подошла к нему. Глаза ее ласково улыбались, и на них Брянцев заметил слезы.

— Спасибо вам! — шепнула она. — Вот порадовали вы меня! Я давно хотела переменить старые образа. Они совсем почернели и потрескались, но мне бы одной не справиться...

После завтрака они начали устраивать в зале со стекляннм балконом мастерскую.

Лидия Федоровна снесла сюда все альбомы и гравюры, папки с этюдами и набросками, иконы и образы.

Брянцев приготавливал мольберты, палитры, кисти и краски. В углу у окна он поставил маленький треножник и поместил на нем свой картон с эскизом картины. По временам он подходил к наброску и поправлял его, изменял план, добавлял людей и придавал им другое положение.

Брянцев чувствовал всем своим существом, что творчество захватило его. Работа подвигалась успешно, и скоро в мастерской стоял уже почти законченный этюд, полный движения и освещенный таинственным светом, исходящим от светлого лика, глядящего сквозь дым и огонь пожара.

Художник с удивлением заметил, что пришла осень с холодными утренниками и сырыми, туманными ночами.

По вечерам на юг уже тянули длинными вереницами журавли и лебеди, летели с немолчным гомоном косяки гусей и уток; в лесу ветер шелестел сухими листьями, а на заре жалобно и тревожно посвистывали синички и сбивающиеся в стайки кулички.

Церковь была закончена. Поднимали колокола. Столяры, выписанные из Пскова, пригоняли створки в царских воротах и делали рамы для икон. В церкви пахло смолой, свежими досками, масляной краской и скипидаром.

Брянцев и Лидия Федоровна приходили сюда и смотрели на свою работу. Икона Спасителя была помещена, как и

раньше, в алтаре. Отовсюду смотрели живые лица с образов, только что написанных, еще не успевших высохнуть и потускнеть.

Священник хлопотал, распоряжался и ежеминутно подбегал к Брянцеву и то принимался благодарить его за помощь, то восторгался красотой художественного письма и, радостно вскрикивая, бежал дальше, повторяя:

— Никуда отсюда не уеду! Здесь и умру я! Радостнее здесь, чем в соборе!

Окончив работу, художник с девушкой вдвоем совершали дальние прогулки, бродили по лесу, раскинувшемуся по нагорной стороне, и все время проводили вместе.

Насонов уехал на предвыборные собрания, и никто не нарушал их покоя. Вблизи Залужья почти не было имений, и соседи не наезжали в усадьбу за сплетнями и злословием.

Между Брянцевым и девушкой установились дружеские и сердечные отношения. Они постепенно открыли друг другу всю свою душу и теперь с доверчивостью и сочувствием делились каждым своим впечатлением, каждой мыслью.

Порой Брянцеву казалось, что он любит Лидию Федоровну и что в его сердце рядом с каким-то спокойным и теплым чувством теплится глубокое, почти молитвенное благоговение перед ее чистотой и безмятежным умом.

Тогда он искал в ее глазах желанного ответа и, не находя его, откладывал день своего отъезда, трепетно ожидая времени объяснения, казавшегося ему необходимым.

Однажды в воскресенье, когда Брянцев с девушкой шли по дороге около моста и смотрели на багрово-красный закат солнца и на черные силуэты деревьев и домов, Лидия Федоровна спросила:

— Вы знаете дедушку Прохора?

— Нет! — ответил художник. — А чем замечателен этот Прохор?

— Он — хранитель здешней старины, — ответила девушка. — Он знает все старые сказания о богах и старых доблестных людях. А сколько здесь старины! Одни названия местностей говорят о седой древности: «Перуново урочи-

ще», «Заповедник», «Курганище», «Красная сеча»!.. Это так чудно, так родственно...

— Я уехал ребенком отсюда, — сказал Брянцев, — и все уже забыл! Родители, вероятно, знали, но молчали, боясь растравлять свои сердечные раны. Они умерли тихо и без жалоб, но их предсмертные думы были здесь, среди этих болот...

— Они вам говорили об этом? — живо спросила девушка.

— Да! — печальным голосом ответил художник. — Говорили... «Откупи наше Залужье»... вот что сказал мне, умирая, отец, и эти же слова услышал я от матери...

Брянцев махнул рукой и сухо рассмеялся.

— Вы очень жалеете, что из вашего рода вышло это имя?

— Нет! — ответил Брянцев. — Во мне уже не сохранилось этой тоски по земле, этого сродства с ней. Разве только в последнее время меня будто потянуло к этим местам, но это, я думаю, совершенно случайно.

— Однако, вы так... нехорошо засмеялись, когда говорили о том, что завещали вам родители?..

— Я засмеялся оттого, что их завещание так для меня неисполнимо! Разве я могу купить Залужье? Я — бедный художник, рисующий по спешным заказам картинки для журналов. Разве я не понимаю, что с каждым годом превращаюсь в ремесленника и что волнения и горести творчества, огонь настоящего искусства остаются сзади, и что мне к ним все труднее и труднее вернуться?!

Они умолкли. Брянцев тряхнул головой и, стараясь придать своему голосу веселый тон, воскликнул:

— Эх! Не все ли равно? Не думайте, Лидия Федоровна, что я такой отчаявшийся в победе человек! Наоборот — эти три месяца придали мне много сил и бодрости. Случай же на пожаре и ваш талант побудили меня писать картину. Я знаю, что она удачна и что я продам ее, но... за вырученные деньги мне все-таки не купить Залужья!..

Лидия Федоровна ничего не ответила ему, и они, уже молча, шли по дороге в сторону «Заповедника».

— Куда же мы теперь? — спросил Брянцев.

— Мне хочется познакомить вас с дедкой Прохором! — ответила она. — Кстати, я сама хочу повидать его. Я очень люблю сидеть у него и слушать его рассказы о старых-старых людях, когда жизнь была нехитрая, светлая и понятная. Не то, что теперь...

— Вы разве не любите теперешней жизни? — удивился Брянцев. — Вы знаете культурную жизнь, встречаете воспитанных и образованных людей, тонко чувствующих и все знающих.

Девушка промолчала.

С дороги они свернули на тропинку и вошли в лес. Здесь было почти совсем темно. Непрозрачные сумерки сгустились под деревьями и поднимались все выше и выше. Между стволами виднелась красная полоска зари, а выше кое-где уже загорались звезды.

На лесной прогалине блеснул огонь в окне маленькой избышки, крытой почерневшей соломой и покосившейся.

Черные ели стояли кругом, а высокая трава поднималась до самого окна.

Девушка постучалась в дверь и позвала:

— Дедушка Прохор! Это я — Лида — из усадьбы.

— Заходи, милая, заходи! — откликнулся ей старческий голос. — Сейчас отомкну.

Послышались тяжелые шаги в сенях, и дверь со скрипом открылась.

— Да ты никак не одна? — спросил старик.

— Я с гостем нашим! С Владимиром Петровичем Брянцевым, — сказала девушка. — Познакомить с тобой, дедушка, его привела...

Когда они вошли в избу, художник увидел маленького, сгорбленного старичка, напоминающего монаха. Длинные, совсем седые волосы падали на плечи, черный ременный пояс перетягивал черную рубаху. Сухое, желтое, почти прозрачное лицо с тонким и горбатым носом и блестящими глазами, казалось, сошло с древних икон.

— Так это и есть твой гость?.. Брянцев, говоришь ты?

— Да! — прервала его Лидия Федоровна. — Это — худож-

ник, который расписал новую церковь после пожара...

— Доброе, настоящее дело! — кивнул головой Прохор. — А только какой же Брянцев? Уж не Петра ли Максимо-
вича сынок? Жив ли он, родимый?

Говоря это, старик сощурил глаза и, прикрыв их от света лампы рукой, приблизился к художнику.

— Да, дедушка! — ответил Брянцев. — Петр Максимович — отец мне, да умер он уж давно...

— Царствие Небесное ему! — перекрестился старик. — Отцом он был нам, душу принял он добрую и праведную от Максима Павловича. Обоих знал я, обоих любил... И вот Господь порадовал на старости! Сынка его довелось-таки по-
видать.

— Меня не помнишь, дедушка? — спросил художник. — Маленький был, когда бросили мы Залужье. Володей звали...

— Где ж упомянуть? — ответил Прохор. — А зачем, родимый, сюда вернулся?

— Заскучал, дедушка! — сказал Брянцев. — Заскучал и приехал. Потянуло меня в ваше болото, как волка в лес!

— Судьба, родимый! — поднял палец кверху старик. — От нее не уйдешь. Это на роду у тебя, Владимир Петрович, было написано.

— Что за судьба? — усмехнулся Брянцев. — Бросало, кидало меня по белу свету, дедушка, мяло, било и ломало!

— А вот — на, поди, и не сломило! — оживился Прохор. — А других раз ударит, да и на дно. Ты — ничего, выплывешь, родной! За добро дедово да отчее сыну на веку счастье положено.

— Уж не хочешь ли ты, дедушка, погадать мне? — улыбнулся художник, а в его голосе зазвучала насмешка.

Старик не обиделся. Он подошел к печке и сел на скамейку.

— Почто гадать? — сказал, пожав плечами. — Почто, коли и так все знаю?

— Расскажи!

— Рано еще... дай срок! Сначала послушай, за что тебя награда ждет... — произнес ласковым голосом Прохор. —

Деда, поди, не помнишь? — продолжал он — Таких нонче, почитай, и совсем уж не стало. Праведник был! Человек справедливый, и справедливый не по-ученому, а так уж это у него в крови было. Когда еще крепостными были залужские мужики, и никто о свободе не говорил и не думал, он нас всех на свободу отпустил. Мы первые целой округой не крепостными, а вольными людьми жили. Соседями Максиму Павловичу были. А когда преставился он, сыну его, твоему отцу, Петру Максимовичу, всякую радость нашу, каждое горе и заботу несли. Так уж привыкли!

Старик тяжело вздохнул и замолчал. Лидия Федоровна подождала, но, видя, что старик закрыл глаза и не собирается говорить, спросила:

— Что же дальше, дедушка?

Старик вдруг заплакал. По-старчески всхлипывая и утирая рукавом слезы, он дергался плечами и головою.

— Этим мы его и погубили! — шепнул он. — Прости ты нас, Христа ради, Владимир Петрович, прости за отца! Без зла, без хитрости погубили мы Брянцева и тебя на тяжелую дорогу кинули.

— Да что ты, дедушка? — сконфузился изумленный Брянцев. — Бог с тобою! Никогда я ничего ни от отца, ни от матери не слыхивал, чтобы ему здешние мужики какое-нибудь зло сделали.

— Брянцевская душа! — воскликнул старик. — Не помнил зло никогда! А мы-то...

Он пересел к столу и продолжал:

— Когда нас неурожай совсем замучили, без перерыву лет семь случались, надумали наши мужики, семей, пожалуй, двадцать, податься на переселенье, в Сибирь, значит. К Брянцеву, к отцу твоему, как водится, пришли и сказывают все, что надумали, а потом и говорят: «Ежели лишние деньги есть — выручи нас, Петр Максимович, ссуди нам! Поправимся — отдадим!». И отдал им твой отец все, что у него было. Мужики уехали, первое время писали, а потом и слух о них пропал. Доходили вести, что мор какой-то среди новоселов объявился, и поумирали все. А тут пришли лихие времена, денег нет, платить надо, жена, мать

твоя, захворала, дочка померла, какой-то долг объявился в банке, и... ушли Брянцевы из Залужья, да так с той поры мы их и не видали...

Прохор задумался, вспоминая что-то, а потом продолжал:

— Лет пять тому назад приехал сюда Кузьма Ванифантьев. Он тогда же в переселенье ушел. Объявился он в Камне-селе. Богатеем сделался! Три мельницы паровые поставил, свой пароход с баржами по Оби гоняет. Приехал он и ко мне сейчас. «Так и так, — говорит, — повымирало наших залужских на новых местах много. А кто, значит, в живых остался, тех я пособираю, и все у меня к делу приставлены. Одного даже в науку определили, в доктора он вышел. Ну, говорит, мы и порешили, что пора наш долг Брянцевым отдать. Собрали мы со всех, проценты насчитали и на детей Петра Максимовича сверх того десять тысяч, вроде как благодарность, накинули!» Всего привез Ванифантьев тридцать семь тысяч. Поискали мы вас, искали, в газетах писали даже, да так никто и не откликнулся...

— За границей был я в то время! — сказал Брянцев. — А больше из нас никого и не осталось. Мать умерла...

— Эти деньги мне оставил Кузьма Семеныч и наказывал, ежели до смерти моей никто из Брянцевых не объявится, ему обратно в Камень деньги послать...

Старик встал и подошел к Лидии Федоровне.

— Касаточка! Рад я душевно. Сподобил меня Бог любовь нашу Брянцевым не словом, а делом показать. Помнишь, сказывал тебе я, что долг великий, кровный долг у меня есть, и что, пока не рассыпался старый Перун, можно ждать прихода. Вот и вышло по-моему, девонька!

— Дедушка! Это ты про Владимира Петровича рассказывал мне тогда вечером — помнишь? — спросила Лидия Федоровна.

— Помню, милая, помню! — улыбнулся старик. — И, кажись, немного и ошибся-то? Пригож он и сердцем добр!

— Ну, чужое сердце — тайна! — засмеялся Брянцев.

— У Брянцевых сердца не утаишь! — возразил Прохор. — Да кабы и так было — другая примета моей правде есть.

Насоновская барышня тебе ровно сестра. А уж эта примета — верная! Душа у ней голубиная и злого человека испугалась бы...

— Что ж это ты, дедушка, обоих нас так расхвалил? — сказала Лидия Федоровна. — Возгордимся теперь мы!

— О вас правду говорил Прохор! — серьезно заметил Брянцев. — Вы мне кажетесь прозрачной, как хрусталь, порой лучистой...

— Сейчас убегу! — воскликнула, вспыхнув, девушка.

— Вас я везде найду! — с неожиданным для него самого жаром сказал художник. — Даже тогда, если бы вас похитил злой волшебник Черномор.

— Не говорите к ночи о нечистой силе! — пошутила девушка. — Не забывайте, что мы в «Заповеднике», где живы еще старые боги и где перекликаются русалки с лешим.

— А и ты, Лидочка, не забывай, что сказывала мне тогда, когда я тебе про Брянцевского наследника говорил! Помнишь?

Старик добродушно рассмеялся и, подойдя к девушке, потрепал ее по руке.

— Помнишь ли? — повторил он вопрос и лукаво щурил свои узенькие, старческие глаза, окруженные сетью мелких морщин.

Девушка совсем смутилась и, захлопав в ладоши, воскликнула:

— Ах, дедушка Прохор, какой ты хитрый!

— Что же вы сказали, Лидия Федоровна? — заглядывая ей в лицо, спросил Брянцев. — Скажите, пожалуйста!

— Нет! Нет! — замахала она руками. — Дедушка Прохор шутит...

Старик смеялся, утирая рукавом глаза, и добродушно подмигивал.

За окнами послышался стук колес и голос кучера:

— Барышня! Барин из губернии вернулись! Вас спрашивают.

Когда Брянцев помогал девушке сесть в шарабан, Прохор подошел к нему и сказал:

— Завтра утром зайди, Владимир Петрович, ко мне! Из рук в руки твое добро передам. Радостный день!.. Дожить бы только!.. — шепнул он уже вслед отъезжающим и медленной походкой поплелся к себе.

III

На другое утро Брянцев пришел в избу старика.

— Помолись, Владимир Петрович, помолись Всевышнему! Великое дело совершается! Вотчина дедов твоих и прадедов ушла от тебя. Лихие времена кого не обижали?.. Но в утешение тебе осталась любовь крестьянская, крепкая любовь к твоему роду, сердцем правильному.

Сказав это, старик опустился на колени перед иконой, висящею в углу, начал тихо шептать и осенять себя широкими, раздумчивыми крестами.

Встал на колени и Брянцев, но молиться он не мог, торжественные слова старика взволновали его, и он чувствовал внутреннюю дрожь возбуждения и ожидания.

— Пойдем! — сказал Прохор и взял палку.

Он вывел художника на узенькую, извилистую тропинку, порой совсем теряющуюся среди высокого папоротника и колючего шпажника, и они углубились в «Заповедник».

Поднявшись на небольшую возвышенность, они попали на поляну, усеянную камнями, обросшими мхом и серыми лишаями. Среди этих камней стоял толстый ствол давно сломанного дуба. Глубокие трещины бороздили его и сходились в черное дупло.

Старик подошел к дереву и сказал:

— По древнему преданию, под этим дубом стоял глиняный Перун. Он давно рассыпался в пыль. Гляди, даже камни, где убивали в дар идолу жеребят, изъела вода и мороз. Только дуб остался. Весь в дупло ушел, а держится... Перуний это дуб... Крепкий, как души здешних людей!..

Говоря это, старик запустил руку под камень, лежащий

у самых корней дерева, вынул узелок из тряпок и начал бережно развязывать его.

Брянцев увидел несколько больших пачек денег, туго стянутых шнурами.

— Вот! — радостным голосом произнес старик. — Считай, Владимир Петрович, все ли в порядке?

Художник отрицательно покачал головой.

— Отец вам верил до смерти, неужели же я не поверю вам?

Он подошел к Прохору, схватил его руку и прижался к ней вздрагивающими губами.

— На доброе дело! В счастливый час! — торжественным, почти суровым голосом говорил старик. — «Перуново урочище» стосковалось без Брянцевых. Мы ждали вас! И уходить отсюда вам негоже...

Брянцев с трудом успокоился и, сев на камень, сказал:

— Постой, дедушка! Дай собраться с мыслями, потом совета попрошу...

— Совет хорош, когда дан вовремя! — произнес поучительным голосом Прохор. — Вот я его сейчас тебе, Владимир Петрович, и дам, а ты потом сам смекни. Стар я, это верно, а людей насквозь вижу. Да тут и видеть не приходится! Насоновская-то барышня...

— Лидия Федоровна? — оживился художник и встал.

Старик усмехнулся и сказал:

— За то время, как ты у Насоновых живешь, у меня часто Лидочка бывала. Сказывала, как ты Христа Спасителя из полымя вынес, почитай, чуть не пропал сам, как благолепию Божия храма радел. Все сказывала. Знать про тебя хотел я правду, и правду говорила она, что смирный ты, Владимир Петрович, не такой человек, какие нынче пошли. А когда говорит — румянец горит, глаза блестят, голос дрожит... Видел я! Гляди и ты, касатик, не пропусти случаев хорошего человека. Мало их по земле ходит, и грех не приметить такого! Грех это!

Они замолчали и долго сидели, слушая, как возятся в сухой траве полевки, собирая семена и корешки на зиму, и как кричат высоко под облаками гуси и журавли.

От перуньего дуба Брянцев вернулся в Залужье богатым человеком.

Его встретила Лидия Федоровна. По глазам его, блестящим и еще растроганным, она поняла его волнение и, подавая ему руку, тихо сказала:

— Я счастлива, что вы встретили здесь таких хороших людей, как Прохор и те, чью волю он исполнил и чей долг вернул! Это никогда не забывается...

— Да! — ответил художник. — Здесь я встретил очень, очень хороших людей, а старый Прохор убедил меня, что грех пропустить хорошего человека...

Он нагнулся и поцеловал руку девушки.

Она не отняла ее и только ниже опустила голову.

— Я пойду куда-нибудь... — сказал Брянцев. — Мне надо успокоиться и обдумать многое!

Девушка молча кивнула головой и, словно боясь вспугнуть его мысли, ушла.

IV

Через болото, вдоль «Пилкина ручья», Брянцев пошел в «Заповедник», к Перуньему дубу. Сюда залетал, пробираясь между стволами елей, ветерок и гудел в дупле. Тихие, понятные шепоты и редкие выкрики слышались оттуда, как голос древнего и дряхлого старика.

И под эти звуки тихо плыли думы Брянцева, спокойные и трогательные думы о красоте человеческой души, о теплоте сердец, не охлажденных и не вытравленных сложной и хитрой сумятицей жизни. Вся природа сливалась с существом Брянцева, он это чувствовал и черпал в ней новые, могучие силы.

Трогательное и нежное чувство к девушке казалось ему тихим лучом, любовно озаряющим нежные и мягкие сумерки и ласкающим милые лица тех, которые без света были страшными призраками, таящимися во мраке.

Брянцев сознавал, что душа его вросла в эту землю, чуть только коснулась ее, ждущую и тайно призывающую его, ушедшего в неведомый и чуждый мир.

Мысли его настойчиво возвращались к девушке. Он решил сегодня переговорить с ней. Почему-то появилась незыблемая уверенность в ее любви и, когда Брянцев пытался объяснить причины этой уверенности, ему тотчас же вспоминалась ночь, горящая церковь и тихий, нежный голос, спрашивающий:

— Куда вы несете Спасителя?

И художнику казалось, что в тот миг между ними протянулись первые нити.

Долго сидел в «Перуновом урочище» Брянцев и, когда вышел на тропу, ведущую к избе Прохора, услышал в стороне от «Заповедника» тревожное ржание лошади, перешедшее в крик дикого ужаса. Этот крик неся над болотами и, испуганные им, они притаились в поднимающемся тумане и слушали сторожко и жадно.

Потом к этим диким крикам присоединился призывный голос человека. Кто-то звал на помощь.

Узнал ли этот голос Брянцев или, бессознательно повинаясь ему, он бросился назад и выбежал на косогор, к которому вплотную подходила трясина.

Из-за кустов ивняка он не мог видеть происходившего на болоте, а когда спустился на равнину, высокие тростники закрывали от него болото.

Брянцев бежал среди кочек, сначала быстро, а когда ноги его начали увязать в топкой земле, он начал прыгать с кочки на кочку, пока не выбрался на открытое место.

Он увидел вдали, там, где была накатана гать, попавшую в самую пучину зыбуна лошадь с возком и сидящей в нем человеческой фигурой.

До гати было еще далеко, но Брянцев видел, как высоко вскидывалась лошадь, стараясь выскочить из трясины, и всякий раз уходила все глубже и глубже. Тревожное ржание прерывалось чьим-то жалобным криком, а порой, когда все стихало, до слуха художника доносилось сочное цоканье засасывающего свою жертву зыбуна.

Человека не видел Брянцев, но его слабый голос доносился до него. Художник начал быстро подвигаться вперед, стараясь наискосок пересечь болото и пробежать скорее до гати, откуда можно было добраться до погибающих.

Путь был тяжелый и опасный. Между кочками черная, пахнувшая прелым земля не выдерживала его, и Брянцев по колени проваливался в топь, с трудом взбираясь на кочки. Почва зыбилась вокруг, и жутко, при каждом его шаге, качались осока и редкие кусты тальника.

Брянцев бежал, чувствуя, как холодеют у него ноги и дрожь ползет по спине. Добежав до места, где лошадь с гати, видно, испугавшись чего-то, попала в топь, он на миг остановился и, взглянув пристально, чтобы обдумать положение, крикнул голосом, полным ужаса. Человек погибал. Его не видел теперь художник из-за растущих у края гати тростников.

Лошадь исчезла в пучине. На зеленой поверхности трясины виднелось лишь большое пятно черного ила. Из него выступала уже вода и медленно затягивалась побуревшими от холодных утренников рясками и листьями кувшинок.

На его крик, скрытый за тростниками человек встал в возке и откликнулся жалобным, полным отчаяния стоном.

Брянцев издал какой-то дикий вой и бросился вперед. Он узнал Лидию Федоровну.

Не сознавая, что он делает, и управляемый каким-то могучим побуждением, Брянцев бросал с гати на топь бревна, жерди и доски, выдвигая вглубь трясины этот шаткий, начинающий сразу погружаться помост.

Дойдя до утонувшей тележки, Брянцев увидел, что колеса уже ушли в топь и черный ил начал вливаться внутрь...

Когда он помог девушке выбраться на берег, он упал грудью на землю, целовал ее ноги и бормотал бессвязные, радостные и страстные слова, прерываемые рыданиями и молитвенным шепотом:

— Господи! Возьми всю мою жизнь за то, что не позволил Ты, подаривший мне великую радость, потерять здесь мое светлое счастье, мою любовь...

Еще не стряхнувшая с себя ужаса, девушка молча слушала Брянцева, но в глазах ее начинали вспыхивать яркие огоньки.

— Как хорошо! — шепнула она, словно очнувшись. — Как радостно, что это ты...

От «Перунова урочища» призывно и смело кричали едва заметные в небе лебеди, летящие на юг, к солнцу...

ОЧЕРКИ

ТВЕРДАЯ КРОВЬ

Илл. С. Большакова



Вся жизнь современного человечества, как культурного, так и находящегося на низких, пока, ступенях развития управляется «золотым запасом», с таким трудом и ухищрениями добываемом людьми, не щадящими для этой цели ни своей, ни чужой жизни и крови.

Золото — по-китайски недаром называется «тин-за», что значит «твердая кровь», а по-индусски «хата-ор», т. е. «камень смерти». Уже этих наименований достаточно, чтобы понять, как рано, почти на заре человечества, за золотом шел бесконечно длинный кровавый след.

Казалось бы поэтому, что металл недоступно редок, трудно находим. Ничуть не бывало!

Золото — повсюду

Известный химик Фрезониус совершенно справедливо замечал, что золото так же распространено в природе, как и железо, и гораздо чаще встречается на нашей планете, чем, например, медь или серебро.

И, действительно, в глубокой древности золото было чрезвычайно ходовым металлом. Из него делались утварь, пояса, шпоры, военные доспехи, троны, столы и даже це-

лые колонны, как это было во дворце Семирамиды или в древнем храме Бей-та-дзы под Нанкином.

Золото было металлом демократическим и в домах даже среднего достатка оно не представляло редкости.

Основываясь на исторических данных, директор Лондонского Монетного Двора, сэр Роберт Остен, делает попытку вычислить количество золота, бывшего в употреблении с начала древней истории и до эпохи Возрождения.

По этим подсчетам, древние народы располагали огромным количеством золота в изделиях.

— Если бы, — говорит сэр Остен, — все это золото превратить в один гигантский слиток, то размеры его были бы таковы. Длина 10 саж.; высота 8 саж. и ширина 7 ½ саж., стоимостью 28.000.000.000 рублей.

Где золото древности?

Куда же пропала такая глыба золота? Куда исчезло и то золото, которое не попало в подсчет сэра Роберта Остена? А его было очень много на земле, если судить по хранившимся до нашего времени древним названиям отдельных местностей и городов.

«Золотая равнина» (в Южном Судане), Золотой берег (египетское название), Хризополис, Хризолидаймион, Аурипаймия и др.

Где золото древних мексиканских ацтеков, идолы которых и жертвенные изображения сделаны были из чистого золота?

Где, наконец, то золото, которое находили наши далекие предки, не знавшие еще огня и железа?

Хранящиеся в Бомбейском и Гортенфиелдском музеях доисторические идолы очень часто представляли собой огромные золотые самородки. Один из них, так называемый «Адам», весит около 1 пуда и представляет большую человеческую фигуру, очень красивую и вполне напоминающую человека.

На этот вопрос, невольно встающий перед каждым, кто знает о подсчетах сэра Остена, дал <ответ> еще в 1900 году знаменитый французский академик Марсель Бертело.

Подсчитывая все золото, находящееся в настоящее время в музеях Европы и Америки и заключающееся в предметах эпох, предшествующих Возрождению, Бертело оценивает стоимость этого золота в сумме 15 миллиардов. Остальное золото находится отчасти в частных сокровищницах и коллекциях, отчасти в земле, погребенное вместе с городами и жилищами прежних поколений.

На 2.562.000 миллионов золота в океане

Особенно много золота было погребено на дне океанов и морей нашей старой планеты, но Бертело все-таки предостерегает от безумных предприятий по добыче этого золота с больших морских глубин.

— Кроме технических затруднений, — пишет Бертело, — это предприятие было бы невыполнимым потому, что золото, пролежав в морской воде более 200 лет, исчезает. Вследствие присутствия в воде брома и йода, металл растворяется и делается неуловимым механическими приемами.

Значит, в морской воде есть золото? — спросит нас читатель.

Непременно, и к тому же в океане находится огромное его количество. Американец Кэри Ли, исследовав все моря на степень богатства воды золотом, вычисляет общее количество золота во всех морях в океанах в 42.000.000.000 тонн, т. е. 2.562.000.000.000 пуд., ценой в 51.240.000.000.000.000 руб., т. е. это кусок золота размером в 512.400 раз больший, чем тот, который люди добыли на земле до эпохи Возрождения (см. рис.).

Количество золота в морской воде все более и более увеличивается, так как реки, потоки и ручьи несут, вместе с пылью и мутью, невидимые частицы золота, которое затем бесследно растворяется в морях.



Рисунок представляет покрытую вечными снегами вершину горной цепи и уходящую вдаль цепь гор, а рядом жалкую хижину горного пастуха. Таково соотношение золота, находящегося в растворимом в воде морей виде, и золота, добытого и использованного в древние времена и в Средневековье. Это, как легко убедиться, две почти несоизмеримые величины, что понятно, если взглянуть на морской бассейн, как на неисчерпаемый запас золота, на богатейший прииск, в котором природа скопила и копит с каждым годом все более и более проклятого желтого металла.

Погоня за морским золотом

Американцы, шведы и австралийцы делали многочисленные попытки извлекать «морское золото».

Теоретически вопрос этот решен, но практически, по-видимому, он еще очень далек от осуществления, хотя австралийская фирма Мак Бурнэй, Джон Сэвс и К-о вопрос этот разрабатывает вновь и на специальном пароходе-барже производит опыты извлечения золота из воды.

Принцип добычи очень прост. Под корпусом парохода проходит бесконечное полотнище толстого сукна, пропитанного хлористыми соединениями олова. Последнее с золотом дает красную краску — Кассиев пурпур, который затем идет в переделку на чистый металл.

Золото в земле

Если за морским золотом гонятся безумцы или гениальные фантазеры и изобретатели, то за золотом, находящимся в земле, охотятся все, причем во всем мире ежегодно добывается не более 28.000 пудов (в России около 1500 пуд.).

Добывается золото промывкой россыпей, т. е. разрушенных пород, среди которых находится золото в самородках, пластинках или пыли. Для этого породу переносят на промывные машины ручными лопатами или же черпаками землечерпалок (драгами), или паровыми лопатами (экскаваторами).

Иногда искусственно образуют россыпь, для чего с высоких мест направляют по трубам к месторождению золота воду, которая разрушает твердую породу и несет песок и ил вместе с золотом к улавливающим металл шлюзам и более тонким установкам.

Отдельную отрасль золотого промысла составляет разработка рудного золота, т. е. такого, которое в чистом виде или в каких-либо соединениях заключается в твердых, кристаллических породах. Тогда приходится строить заводы с мельницами и толчеями для измельчения камня, а затем уже направлять его в другие отделения завода, где золото извлекается ртутью, хлором или цианистым калием.

8005 с 23 нулями руб. стоит золото,
находящееся в земле

Запасы золота в земной коре огромны и исчислены геологами на сумму: 800.500.000.000.000.000.000.000.000 р. <...> Конечно, большая часть этого золота, вероятно, останется навсегда недоступной человеческой предприимчивости и жадности, хотя уже теперь производятся опыты над глубоким бурением в тех местностях, где предполагается залегание глубинного золота.

Богатые залежи, на разработке которых обогащались сотни родов, выработаны окончательно. Современный промышленник не мечтает даже о 15-20% прибыли на затраченный капитал; 8% — считается удачным дивидендом.

Потребность в государственном запасе золота, в монете, потребление золота в технике, в ювелирном и зубоврачебном деле, незаменимость золота другим металлом с теми же высокими качествами — оставляют цену неизменно высокой, а именно около 21.000 руб. за пуд чистого золота.

Из 2-х золотников — европейский телеграф

Кроме столь высоко ценимых техникой свойств золота, как его неокисляемость и весьма большая стойкость при воздействии на него других веществ, золото обладает особыми свойствами, издавна сделавшими его волшебным металлом.

Реальный XIX век развенчал всю чертовщину, но не мог победить ореола таинственности, окружающей золото. Наоборот, точные, эмпирически изучившие все химия и физика еще более подчеркнули особенность золота.

В первую очередь, следует упомянуть о необыкновенной тягучести золота.

Два золотника чистого металла возможно вытянуть в такую тонкую проволоку, что из нее отлично можно устроить большую телеграфную линию в Европе.



Настоящую телеграфную линию можно оборудовать из куска золота весом в 2 золотника. Полученной тончайшей, более тонкой, чем паутина и волокно водорослей, проволокой можно соединить Петербург с Берлином через Москву, Киев, Софию, Вену, Париж и Лондон. Линия эта потребовала бы очень мало электрической энергии и средств на ремонт никогда не ржавеющей проволоки, если бы эта проволока была видима глазом и прочна.

Таким образом, за два золотника золота можно установить сношения между столицами Европы и решить, например, кровавый балканский спор. Золото тянется в такие тонкие нити, что их можно разглядеть лишь в микроскоп. Зрение же и осязание бессильны при изучении этого вопроса.

Золото мерой в лесной орех

При богдыхане Куань-Сяо-Цан, династии Мингов, один ювелир из Баодинфу подал челобитную ко двору о выдаче ему золота мерой в один лесной орех; из этого количества золота ювелир обещал сделать подарок только что родившемуся сыну богдыхана.

Золото было выдано, и обещание исполнено. Когда сын Цана царствовал уже 15-й год, в столицу явился древний старик и просил принять от него подарок. Это была деревянная лошадь в натуральную величину, покрытая тончайшей золотой шерстью, изготовленной из золота «мерой в один лесной орех».

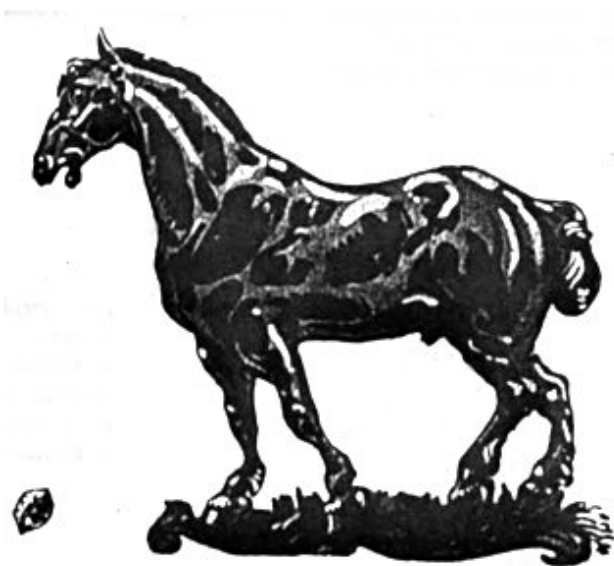
Лошадь эта существовала до 1785 года, когда, во время пожара Саньдзинского дворца, где хранились редкости, принадлежащие династии, она сгорела вместе с библиотекой Мингов и древними сайотскими манускриптами.

Золотой двор. Ранчио и чудеса золотобойцев

В начале XVI века флорентийский кузнец Микаэло Ранчио из 10 граммов золота (полгинеи) выковал столько пластин, что покрыл ими мраморный двор рыцаря Дальмини, пригласившего всю флорентийскую знать полюбоваться на его золотой двор.

Современные золотобойцы делают еще большие чудеса. Один золотник металла может превратиться в такое количество листов сусального золота, что они могут покрыть всю площадь Петербурга.

Пишущему эти строки приходилось видеть такие тонкие золотые листочки, что они были прозрачными и напоминали пластинки фиолетового стекла.



Конь Куан-Сяо-Цана сделан из орехового дерева и покрыт тончайшей шерстью из золотой проволоки. Конь этот из Пекинского и Нанкинско-го дворцов перекочевал в монастырь Джан-Су, где стоял рядом с фигурой Будды. В начале XVIII века эту лошадь старых Мингов зарисовал и описал английский миссионер Гартммут, который говорит: «Металлическая золотая шерсть так тонка, что ее едва осязаешь пальцами». Здесь же и шерстяной орех, тончайшей проволокой которого покрыта лошадь.

Золото и наука

Наука всегда обращалась к помощи золота для различных своих опытов.

Еще болонские академики, изучая скважность металлов, брали золотой полый шар и, наполнив его водой, били его деревянными молотами, причем убедились, что сквозь металлические стенки шара, как мелкий пот на утомленном челе, выступали капли воды.

Вольта, Франклин, Фарадей и Волластон, приступая к познанию сущности электричества, применяли для своих приборов золото, а в настоящее время золотые и золоченые гири при физических и химических исследованиях, золотые лабораторные сосуды повсеместно применяются при научных работах.

Жизнь золота

Совсем недавно, не более пяти лет тому назад, двум ученым, Осмонду и упомянутому выше Остену, посчастливилось открыть новое свойство твердых веществ, особенно ясно выраженное в золоте и названное «движением мертвой природы».

Они помещали на золотую пластину цилиндр из чистого свинца, и по прошествии двух дней наблюдали самовольное проникновение золота в массу свинца на глубину 2-6 миллиметров, а с течением времени и до самой вершины свинцового цилиндра.

Итак — беспристрастная наука установила необычайные и почти не повторяющиеся в других металлах свойства золота.

Еще гораздо раньше официальной науки, адепты тайных, магических знаний, чернокнижники и колдуны приписывали золоту свойства «эликсира жизни», «вечной юности» и видели в этом тяжелом желтом металле эмблему и источник неиссякаемых и могучих сил.

Потому-то они и искали способа превращения камня в золото, так как из этого «рожденного золота» предполагали готовить «великую панацею», дающую силы и юность, уничтожающую старость и недуги, предохраняющую от несчастий и злого глаза.

Алхимик Тримегист, а позднее Павел Савойский утверждали, что, получая золото из черного, тяжелого камня, они видели, как в горне по металлу бежали зеленые, синие и красные змейки и прятались затем внутри затвердевших

капель золота.

Теперь всякий пробирер и плавильный мастер знает эту разноцветную побежалость на поверхности расплавленного золота, но в Средние века и это простое свойство усиливало веру людей в «нездешние» свойства золота.

Таинственная сила золота

Амулеты, — самые действительные лечебные и приворотные средства, — готовились в золотых сосудах и с прибавлением к составам и снадобьям золота. При упадке сил у коронованных особ в Средние века врачи давали крепкий настой целебных трав на старом вине, в которое опускалось несколько оплавленных золотых зерен.

Обычай этот сохранялся до начала прошлого столетия, а в Германии до настоящего времени считается лечебной данцигская водка, представляющая самую обыкновенную водку с брошенным на дно сосуда золотым листочком.

Золотые самородки, особенно если они обладают странной формой и напоминают человека, животное и дерево, очень ценятся именно потому, что им приписывается свойство приносить вред или пользу их владельцу.

В Сибири и в Южной Америке до настоящего времени самородки, напоминающие человеческую фигуру, немедленно бросаются обратно в шахту или разрез, так как, по местному поверью, это — «деньги дьявола».

Странные фигуры, находимые в россыпях, запрятываются «на счастье» в щелях домов, в горных расселинах и служат залогом удачи и спасения от всяких бедствий.

Если ученые и философы смотрят на золото с некоторой долей почтения, то что же говорить о простых смертных, памятующих, что —

«Все мое — сказало золото...»

Из-за «желтого дьявола» происходят войны и не раз менялась географическая карта; из-за золота отправляются в опасные и тяжелые экспедиции энергичнейшие люди современности; пренебрежение законов, насилие над слабейшим, падение нравов — спутники погони за золотом, двигателем нашей жизни.

Утайка золота путем глотания его и запрыгивания в карманах, сделанных в собственной коже чернорабочего, влекут за собой грубые и гнусные приемы обыска и защиты от хищения..

Перевозка краденого золота в вяленой рыбе, в тушах кур и поросят, организованная охота за такими перевозчиками, краткие, стремительные драмы на глухих полянках темного леса или в пустынных и мрачных оврагах, бой и кровь, а вслед за ними тюремная решетка, а то и виселица — вот победный гимн жестокого «тин-за», «твердой крови» и злобный смех «хата-ор» — камня смерти.

РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ- АВАНТЮРИСТЫ

Илл. С. Лодыгина



Страсть к путешествиям — одно из сильнейших проявлений человеческой энергии, не находящей применения в тесных рамках общественности. С этой точки зрения, без сомнения, Россия представляет чрезвычайно благоприятную почву.

История, а еще раньше до нее, — мифология и легендарный эпос всех народов богаты сказаниями о путешествиях отважных авантюристов. Одни из этих авантюров имели чисто идеалистическое направление, носили отпечаток стремлений и исканий, как, например, поход аргонавтов и плавание Колумба; другие совершались с завоевательными целями, подобно воспетым Оссианом плаваниям внуков Фингала, разнесших славу каледонских кланов по всему побережью Атлантического океана; третьи, наконец, являлись путешествиями торговыми. К таким надлежит отнести — экспедицию героя «Луизиад» Камозенса, Васко да Гама, а гораздо раньше экспедицию Тирского царя Фаркиссерна к берегам теперешней Англии.

Только о русских путешественниках, влекомых в неведомые области нашей планеты духом искания, или мятежной непримиримостью с обыденщиной, или попросту стремлением к захвату и наживе, — очень мало известно.

Намеки на далекие плаванья ушкуйников, лихих «вольных» людей, полуразбойников, полуотпетых бездомных бро-

дят, поход Ермака в Сибирскую землю, подвиги Ерофея Хабарова на Амуре, авантюра Ашинова в Африке — вот почти все в этой области, что занесла на свои страницы история.

А между тем, мы можем смело сказать, что русская широкая натура издревле не могла вместить себя в рамки жизни на Руси, несмотря на то, что земля наша была всегда «широка и обильна».

С этой, ставшей исторической, фразой русские послы совершали путешествие за море к варягам, т. е. к скандинавским народам, но перипетии этого путешествия остались неизвестными потомству.

А между тем, в одной древней, как серые граниты на Торисо, норвежской саге «О пришельцах с Севера» говорится очень много интересного и знаменательного*:

— Когда однажды упало багровое солнце в далекие воды холодного моря и на берег с шумом кинулись волны, жители Хордгаура вдаль увидали большой струг с четырьмя желтыми парусами. На высоком носу горел костер, и человек в белом, стоя над пламенем, воздевал к небу руки. Выйдя на берег, люди со струга спрашивали о чем-то жителей Хордгаура на чуждом и непонятном языке. Мечи и топоры были в руках пришельцев, а на цепях вели они за собой лохматых, злобных псов. Старики, зрелые мужи и юноши, рослые крепкие люди с длинными белокурыми и русыми волосами, вышли из незнакомого струга, и встретил их Финбог. Незнакомцы обнажили мечи, но Финбог поднял руку к небу, и старший из пришельцев вышел из толпы и сказал, указывая себе на грудь: «Я — Тоуэррог!..»

Этот «Тоуэррог», по толкованию Сенковского, был не кто иной, как Турог, Турий рог — прозвище, часто встречаемое среди северных славян той эпохи и сохранившееся поныне в виде названий различных местностей.

Это было более 1000 лет тому назад, а через 300 лет по-

* Far Finbog teig, Stockholm, 1875 г.



сле встречи Турога с Финбогом, по финским источникам*, на город Кюэмь (нынешняя Кемь) произвели нападение пришельцы, приплывшие с южной части Белого моря в легких парусных баркасах. Они сожгли Кюэмь и вырезали всех жителей, похитив бронзовые идолы и мечи вождей из храма в Кюэмми. Бросаясь в бой, пришельцы призывали на помощь Перкуна и Сварога; это совершенно ясно говорит за то, что истребителями Кюэмми были славяне, по Онеге спустившиеся до Студеного моря и принесшие на скандинавский берег огонь и кровь. Память об этой седой были осталась в финской песне в честь ветра, где говорится:

Надуй ты полный парус силой
И гони корабль к берегам Сторго.
В щепы разбей на камнях Торохо
Лады людей Перкуна и Сварога...**

После этих отрывочных сведений о том, что славяне, населяющие великую Российскую равнину, отважно проникали в чужие страны, не щадя при этом ни своей, ни чужой жизни, наблюдается большой перерыв, если не считать походов Святослава и Игоря. Перерыв этот тянется до царствования Иоанна IV.

* Северные летописи, обработанные Риксдунгом. Gotha, 1891 г.

** Собрание финских обрядовых песен Liestield, Berlin, 1900.

Кровавая и мрачная эпоха грозного царя ознаменовалась завоевательной экспедицией непокорного, вольного казака Ермака Тимофеевича на далекие Tobол и Иртыш, но одновременно с этим казни и душная атмосфера интриг и шпионства, допросов «с пристрастием», жестокостей и беззаконий опричнины вызвали усиленную эмиграцию русских людей не только в соседние Польшу, Литву, как это сделали князья Шуйские и Курбские, и в Туречину, куда убежали «под высокую руку» султана бояре Ромодановские и Миклеевы, но и в далекие, незнакомые страны, о которых говорит русская поговорка, что туда «Макар телят не гонял» или, что они находятся «у черта на куличках».

В одном из северных монастырей была найдена рукопись времен Иоанна Грозного, и в ней неизвестный летописец сообщает, что тридцать боярских детей и служилых людей из Москвы бежали в Архангельск и, взяв с собой инока Козьму, «в мореходном плавании искушенна», ушли в море и не вернулись.

Совершенно случайно английская геологическая экспедиция Д. Кольрея, профессора Дублинской коллегии, в 1902 г. на берегу пустынного Тана-Фиорда, на северном берегу Исландии, нашла два разрушенных временем и ветрами жилища, построенных из камней и выброшенных морем стволов. В одном доме были открыты почти истлевший и рассыпающийся череп человека, изломанная оловянная посуда, куски заржавленного железа и древняя медная икона-складень.

Через несколько лет археологи определили, что икона работы суздальских монастырей первой половины XVI века, а оловянная посуда очень распространенного в России того времени вида. Приват-доцент А. М. Микулев, на основании целого ряда предположений и остроумных косвенных доказательств, приходит к заключению, что экспедиция проф. Кольрея случайно натолкнулась на забытую всеми колонию русских людей, бежавших из утопающей в крови при Грозном Москвы.

Даже слабого воображения достаточно для того, чтобы представить все труды и лишения парусного баркаса с трид-

цатью смельчаками и благочестивым иноком Козьмой на руле, обогнувшими с севера Скандинавию и в постоянной борьбе с Ледовитым океаном и с полчищами пловучих льдов доплывшими до далекой Исландии, где среди мертвых камней и льдов зияют огнем «адские врата» — вулкан Гекла и дышат серой горячие гейзеры.

Жутко представить полное тревог и ужаса житие этих добровольных изгнанников, бежавших от «слова и дела» московской опричнины, перед лицом таинственных сполохов, горящих на северном небосклоне, вздрагивающих от подземного клокотания гор и земли, извергающей из своих трещин огонь, горячую воду и «серный смрад геенны нечестивой».

Почти одновременно с этим забытым путешествием крепостной человек Строгановых на Урале, бергмейстер Павел Хвостов, в 1575 г. совершил удивительное путешествие вглубь земной коры, пройдя, по собственным его указаниям, около трех верст.

Около нынешних Березовских промыслов существовала «Зеленая Падь», в каменистых склонах которой была пещера. В эту-то пещеру забрался Павел Хвостов и наткнулся на глубокую расщелину, уходящую под землю.

Отважный человек, запасшись салом и фитилем, пустился в путь и через несколько часов достиг обширной пещеры.

В донесении управителя Владимира и Дорофея Строгановых* московскому торговому приказу говорилось, что крепостной человек Павлушка Хвостов, обучавшийся горному искусству «у размыслов»** в немецкой земле, открыл «чудо чудное», увидел «диво дивное».

В пещере, открытой им в недрах земли, Хвостов нашел стены из камней самоцветных и горящих, «как солнце» и, с великим трудом отбив их от стен и сводов пещеры, принес Строгановым, узнавшим в них светлые смарагды (хризопразы, бериллы и хризолиты), сапфиры, лазоревики (ак-

* Архив Большаковых, т. V, 417.

** Размысл — инженер.

квамарины), хрусталь белый и дымчатый и яхонты (рубины и альмандины).



Но самым удивительным, о чем поведал своим владельцам отважный крепостной человек, было упоминание, что в небольшом озерке, которое лежит посередине открытой Хвостовым пещеры, он видел «чудищ с черными хребтами и хвостами, как у белужьих рыб». Голов их не видал Хвостов, но большие и неуклюжие тела их выставлялись из воды и заставили своим видом

человека, дерзко заглянувшего в недра земли, бежать отсюда. Управитель Строгановых, Михей Горностаев, дав Хвостову товарищем Пимена Грыку, послал их вторично за самоцветами и за сведениями о происходящем в пещере. Смельчаки не вернулись, и никто больше не видал той пещеры, пока в конце 60-х годов прошлого века не наткнулись при рудничных работах на подземные пещеры, где стали добывать ляпис-лазурь, малахит, горный хрусталь, топазы, аквамарины и хризолиты. Это — Хвостовские пустоты, в которых знавший эту был немецкий маркшейдерский мастер Петцольд тщетно искал останки погибших Хвостова и Грыки, а также подземное озеро «с чудищами». Но вода этого озера ушла куда-то по глубокой трещине, а в породе, обставлявшей дно бывшего озера, нашлись лишь кости и чешуя рыб больших и панцири моллюсков.

При царицах Анне Иоанновне или Анне Леопольдовне из Архангельска ушла морская экспедиция в Северный Ледовитый океан для отыскания новых рыболовных мест. Бури загнали судно на берег Новой Земли, где остатки жилищ погибших мореплавателей в истекшем году открыла экспедиция капитана Вилькицкого, водрузившего русский флаг на земле императора Николая II.

Религиозное подвижничество не раз гнало людей в неизвестные страны к людям, лишенным света истинной ве-

ры. Много их было, но кто они и где сложили кости эти самоотверженные и многострадальные люди, с Евангелием и крестом в руках проникавшие в девственные леса и горы, к диким и часто жестоким племенам — никому не ведомо.



Трогательной и жуткой иллюстрацией подвижнической жизни неизвестных никому героев служит открытие, сделанное Болингом и Гусаковым, нашедшими в безлюдной тундре, между устьями Оби и Енисея, древний скит, истлевшие бревна которого и новгородской работы медный крест доказывали, что это бедное жилище простояло здесь многие века. Тут же в скиту был найден костяк неизвестного подвижника, наполовину зарытый в землю, и валявшиеся рядом, совсем изъеденные ржавчиной тяжелые вериги.

Задолго до неудачной продажи Россией богатейшей Аляски правительству С.-А. С. Штатов, семейство русских промышленников Орловых, пройдя проливом Шелехова, высадилось в виду горы Св. Ильи, пошло на северо-восток и поселилось вблизи впадения большой Рыбьей реки в оз. Гарри, где основали посад Орловку.

Обитатели этого поселка во времена победоносного шествия англосаксонских и французских колонистов к северному полярному кругу выдерживали жестокие схватки с вооруженными отрядами озерных ирокезов.

Куда девались теперь Орловы — неизвестно и память о них сохранилась лишь в названии американской фактории на южном берегу Гарри — *Orlofstown*.

Когда в 1912 г. экспедиция немецких зоологов и ботаников, руководимых лейпцигским профессором Нотшибом, от города Пибаса в Перу (Южная Америка) начала подвигаться вниз по течению р. Амазонки, то в районе впадения Рио-Негро наткнулась на факторию, население которой состояло из выходцев из России.

Люди эти совершенно не знали русского языка и только по преданию помнили, что их предки вышли из России. Это были отличные и отважные охотники, знающие льяносы от границы Колумбии до Гран-Пара и оказавшие экспедиции неоценимые услуги.

Эти рослые и загорелые люди с рыжевато-белокурыми волосами живут в домах, построенных на высоких сваях во избежание затопления в половодье. Средством передвижения для них служат длинные и остроносые, очень легкие и быстроходные лодки.

В лесных тропках Бразилии, где не только звери и птицы, но насекомые и даже растения нападают на неосторожного путника, эти колонисты были как дома. Они показали, как длинной и гибкой лианой легко перебить хребет чудовищного питона, ядовитую гремучую змею поймать на удочку, каймана (вид крокодила) взять в плен при помощи простой деревяшки, заостренной с двух концов, ядовитого птицелова-паука убаюкать монотонным посвистыванием и т. д.



Если бы можно было окинуть одним взглядом всю обширную территорию нашего отечества, то в горных ущельях Яблонового хребта, на Хингане, Хамар-Дагане и Сихотелине в тайге по Уссури, в тундре на Лене и обеих Колымах, среди снежных увалов Камчатки и дальше за северным полярным кругом виднеются дымки над жильем отважных русских людей.

Они изучают страну и людей, проповедуют слово Божие и переводят Евангелие на гортанный «звериный» язык ороchon, гиляков и айнов; ищут золото в сухих логах и лесных падах новых земель; рыщут по снегу за соболем, горностаем, куницей и бобром; на парусных вертлявых челнах подкрадываются к заснувшим в Беринговом море китам или бьют на запретных лежбищах драгоценных котиков, моржей, нерп и сивучей.

В их жизни столько романтизма и здорового картинного и колоритного героизма, что в памяти, как живые, встают давно канувшие в Лету герои Майн-Рида, Густава Эмара и Фенимора Купера, и хочется верить, что «Морской волк» Джека Лондона вышел из их среды людей труда, упорства и фанатического служения своей идее, как бы сумасбродна она ни была подчас.

СЛУША-А-АЙ!



Еще так недавно раздавался этот монотонный, хотя странно жуткий окрик «Слуша-а-ай!» около всех тюрем и острогов нашего необъятного отечества. И звучал он той же сторожкостью и суровостью как здесь, в Петербурге, так и там, где сугробы снега заносят Колым, Якутск и Пропадинск чуть ли не до верхушек крыш. Теперь не услышать уже этого окрика бдительной стражи, удерживающей в тюрьмах тех, кого страшится нормальное общество. Изменились времена, и культура пошла вперед во всех отраслях нашей жизни.

Железобетон, сигнализация, внутритюремный надзор сделали уже ненужными особые способы внешней охраны мест заключения. Тюрьмы потеряли навсегда вид особо тщательно защищаемых фортов и крепостей. Все знают, что тот безумец, кто хотел бы пробить монолитную стену своей камеры или подкопаться под ее фундамент, ушедший глубоко под поверхность земли.

Однако, безумцы находятся, а наградой их безумной отваге или столь же безумной изобретательности служит полная неудача, горькое разочарование или смерть.

Можно смело сказать, что за последнее десятилетие в более или менее усовершенствованных тюрьмах не было совершено удачных побегов, а если они относительно и

удавались, то и тогда беглецы бывали почти в момент побега задерживаемы и вновь водворяемы в тюрьмы.

Знакомясь с происходившими в разных тюрьмах и в разное время случаями побега, можно без труда разделить все эти попытки на две категории: побеги технического свойства и личного.

Первые из них представляют собой образцы упорно работающей в одном определенном направлении мысли и могли бы для психолога явиться источником многих чрезвычайно поучительных умозаключений и теорий.

От первобытного строительного фокуса, когда крепкие пальцы арестанта и клинок карманного ножа в течение долгих дней выбирали кирпич за кирпичом в стене, пока не образовался выход на двор или улицу, до таких гигантских работ, как проведение тоннеля в стенах и под фундаментом тюрьмы, существует целый ряд переходов.

...Ночь. По длинному коридору мерно шагает дежурный надзиратель, заглядывая в дверные «глазки» или прямо в железные решетчатые двери камер. На нарах все, как всегда.

Те же неподвижные, черные фигуры людей, тускло освещенные неярким пламенем висящей высоко под потолком лампы, громкий храп, неясное бормотание спящих, порой короткий лязг кандалов.

С коридора не видно, как чуть заметно шевелятся головы арестантов, как вспыхивают глаза лежащих, притаившихся людей. Изредка легкий, едва различимый ухом свист раздается в камере и тогда быстрая тень человека бесшумно скользит под нары, где прячется черная, слепая темнота.

Громче раздается в такие минуты храп, чаще лязгают и гремят цепями и мечутся во сне кандальники.

Где-то в глубине тревожного, мятущегося сердца тюрьмы идет отчаянная и мрачная работа.

Давно уже измелъчена, вынута и разнесена по двору во время прогулок часть стены. На день отверстие искусно заклеивается разрисованной под кирпич или штукатурку бумагой и хлебным мякишем, а ночью туда вползает очеред-

ной арестант и крошит камень, разъедает его кислотой, этим другом заключенного, порой же, когда в тюрьме, в одной из камер, начнут шуметь, затеют ссору или драку, вступят в ожесточенную перебранку со стражей, — работающий просверлит в камне длинный и узкий ход и, вложив туда куски пироксилиновой шашки, взорвет их. В общем шуме, грохоте ломаемых нар и железных дверей, в невообразимой суматохе, всегда вызываемой тюремным бунтом, глухой гул взрыва часто проходит незамеченным.

Это большая работа и тогда соединяются все камеры. Ненадежных или подозрительных в смысле доноса или болтливости арестантов под разными предложениями и различными способами, — преследованием, боем и насмешками, — выпроваживают в другие камеры.

Медленно, упорно подвигается вперед трудная и тайная работа.

Канал, или, по-тюремному, «лаз» в стене прошел уже в фундамент, здесь свободнее и безопаснее работать, из-под земли не так доносится звук ломаемого камня и шорох выкидываемой земли. Составитель плана подкопа всегда ищет каналов, по которым идут трубы отопления, водопровода, газа или электрические кабели. Напав на такие каналы, работающие быстро подвигаются вперед. Теперь уже не надо возвращаться в камеру и в мешке выносить куски кирпича или вынутую землю.

Это — самая опасная часть работы. Нужно выбросить из камеры землю и камень. Надзиратели сразу заметят это. Приходится раздать всю землю арестантам по горсточке. Они же на прогулке разбросают землю по двору, при удаче перекинут камни через ограду, а не то изломают, искрошат кирпич и незаметно раскидают повсюду.

При такой совместной работе иногда всего населения тюрьмы почти всегда грозит опасность быть выданным подсаженной ли «птичкой» (шпионом) или своим же братом, но доносчиком и болтуном.

Подкоп близится к концу. Арестантам это видно ясно. Главные зачинщики ходят бледные, с посиневшими губами и лихорадочно блестящими глазами. Нет воздуха в сле-

пых и узких каналах в стене или под землей. Стучит кровь в висках и неприятно замирает сердце, готовое остановиться. Гаснет без воздуха огарок свечи, освещающей сизифову работу арестанта, но долго еще после ее последней вспышки копается в темноте задыхающийся человек. Еще мгновение, и в глазах его замелькают, забудутся красные и зеленые огненные круги. Он дергает за веревку, и его тянут обратно уже помертвевшим и неподвижным. Окатыт голову водой, дадут несколько раз глубоко вздохнуть, и снова поползет он, как гигантский червь, в темное жерло лаза, освещая свой путь трепетным, тусклым светом огарка.

На прогулке встречающиеся арестанты пытливо переглядываются, незаметно делают друг другу какие-то знаки и неслышно перешептываются на тюремном, изменчивом жаргоне.

Главари отдыхают после тяжелой работы. Пройдет день или два, и настанет срок побега. Всякими способами и путями давно уже дано знать на волю, что готовится массовый побег.

В разных притонах и тайных квартирах, где собираются герои ночи, люди, живущие преступлением, приготовлены костюмы, наклейные бороды, усы и парики, стоят готовые подводы, куплены железнодорожные или пароходные балеты и приготовлены «настоящие» паспорта и другие необходимые при путешествии документы, именуемые тюрьмой и преступниками одним общим названием — «кси-ва».

За несколько часов до совершения побега в самой тюрьме идут последние приготовления. Одни — для остающихся, другие — для бегущих.

Остающиеся, но посвященные в «дело» арестанты должны в момент «полета» (как здесь называют побег) «завести волынку» для отвлечения внимания стражи и надзирателей.

С этой целью их снабжают двумя главными орудиями: пилками для подпиливания решеток и ключами к дверям камер.

Поднимается страшный переполох, свистки, крик, стрельба, когда на двор через перепиленную отогнутую решетку неожиданно выпрыгнут несколько человек и разбегутся для отвода глаз по тюремному двору, или когда внезапно открывают они двери и появляются в коридоре, для вида наступая на надзирателя. А тюрьма вторит этой тревоге завыванием, треском отрываемых от нар досок и грохотом железных дверей.

Бегущие в это время совершают последние церемонии. Они пьют водку, пьют без конца, как лекарство, от которого ожидают эти озлобленные, больные люди исцеления; а потом с дикими глазами и сумрачными лицами тянут жребий, «на фарт», на счастье, кому первому идти во главе всех «летащих».

Через мгновение они один за другим спускаются в лаз, а вскоре вынырнут они уже за стеной и побегут, не слыша, как трещат вслед им выстрелы часовых и как кричит мчащаяся за ними погоня.

Потом их мертвых, с простреленными грудью и головами, или мертвецки пьяных несут или везут обратно в тюрьму, в штрафные камеры, карцеры, больницу или мертвецкую. И всех их одинаково с молчаливым и грозным чувством провожают мрачные взгляды обитателей камер.

Таковы массовые побеги.

Неудача возбуждает энергию, и мысль работает упорно в том же направлении, ища выхода за высокую острожную тюрьму.

Пироксилин, кислота, водка, пилюли, яд и оружие — все это можно найти в тюрьме. Придет ли кому-нибудь в голову обвинять в недосмотре тюремную администрацию? На всем свете, во всех наиболее усовершенствованных местах заключения уголовных преступников все эти атрибуты борьбы арестантов с карающим правосудием хранятся тюремным населением вместе с неугасающей надеждой на удачный побег, на выход на волю задолго до определенного законом срока.

Да разве мыслима борьба нормальных людей с болезненной, надрывной изобретательностью преступника, с на-

вязчивой идеей побега и часто мести?

Можно препятствовать их выполнению — и это делается. Можно обезвреживать побег в последний момент — так и бывает на деле, так как уже упоминалось раньше, что массовые побеги никогда не удаются. Одиночные побеги с подпилкой решетки или подкопом под фундамент удаются иногда вследствие полной конспиративности и неожиданности, хотя в отношении общего количества таких побегов, процент удачных весьма незначителен.

Гораздо более часты и более или менее удачны побеги, для которых требуются личные качества беглеца.

Конец приема посетителей. Заплаканные женщины, матери и жены, и печальные, сумрачные мужчины идут медленно, сопровождаемые пытливыми взорами надзирателей.

Вместе с ними уходит и арестант. Он тщательно загрирован и среди наклеенных бровей, бороды и усов трудно разглядеть его тревожные, бегающие глаза.

Но большой навык у надзирателей. Они привыкли присматриваться не только к лицу арестанта, они запоминают походку и движения людей. Из 1.000 случаев в 999 узнают они убегающего и водворят его, злобно ругающегося и надрывно, иступленно проклинаящего, — в карцер.

...Морозный туман навис над полями, и из-за его пелены молчат черные стены тюрьмы. Мерно шагает часовая. От одного угла до другого сто шагов. Невольно считает часовая каждый свой шаг и зябко ежится в своей негреющей шинели. Мерзнут руки в вязаных перчатках и сквозь них проникает колючий холод замерзшей стали ружья. Издалека, со стороны города, доносятся разные звуки: лай собак, какие-то крики, гудок паровоза или фабрики. Там жизнь, там движение. А здесь? За этими толстыми стенами томятся в неподвижном сонном бездействии сотни людей, чуждых и даже враждебных всем.

— Проклятая сторонка! — копошится в голове мысль, и грудь поднимает тяжелый, нерадостный вздох.

В тумане над стеной мелькнуло что-то, что чернее стены и заметнее в тумане. Часовой поднял голову и насторожился. Тишина кругом и глухое молчание. Он повернулся,

чтобы продолжать свой путь до следующего угла, и поднял уже ружье, готовясь накинуть его на плечо.

Что-то большое и черное мелькнуло над головой часового, метнулось к нему, закричало и с громким топотом ног, ударяющих в замерзшую землю, побежало, скрываясь в густеющем тумане...

Едва не выронив ружье от неожиданности, часовой торопливо сдергивает толстые неуклюжие перчатки и берет за затвор ружья. Через несколько мгновений он стреляет в туман, с которым давно уже слился силуэт убежавшего человека.

Тревога...

А где-нибудь в другой тюрьме в это же время другой обезумевший от тоски человек ставит все, что у него осталось, — свою жизнь, — на карту, стремясь на волю.

Он тоже вызывает тревогу. Она промчится черным вихрем по мрачным тюремным коридорам и, быть может, даже не вырвется за стены острога.

Из одиночной камеры, где содержится опасный уголовный преступник, раздается тихий окрик и дребезжащий стук в железную дверь.

— В больницу надо! занемог я, — говорит вялым, страдающим голосом арестант подошедшему к двери надзирателю. — Всю ночь глаз не сомкнул... Режет, жжет все нутро...

Лишь только открыл надзиратель дверь, согнувшееся от боли тело арестанта выпрямляется. Как пружина, оно бросается вперед и сбивает с ног озадаченного надзирателя...

Тихо крадется человек по лестнице вниз и гасит за собой лампы. Он в форме надзирателя, того самого надзирателя, который с перерезанным горлом хрипит там в коридоре, кобур револьвера отстегнут, за пазухой связка ключей, и каждой воли горят глаза.

Минуя коридор, козырнул стоящему в другом конце его надзирателю и вышел во двор. Еще темно, но у ворот, у заветных ворот, за которыми воля и жизнь, маячат тени. Это сменяется дежурство и караул.

Человек, стараясь не привлечь к себе внимания, медленно отступает и, птясь спиной, входит в тюрьму.

Отчаянный крик, резкий, как выстрел в ночной тишине, вырывается у него из груди. Его схватывают сзади дюжие руки заметившего его побег нижнего надзирателя, валят с ног и вяжут...

А то и в полдень, когда все налицо, на глазах арестантов, надзирателей и солдат может «полететь» такой отчаянный человек. Он ведь решил, что легче умереть, чем жить в цепких объятиях тоски. В тот момент, когда солнце так ярко светит и ласкает даже песок тюремного двора и стены острога, когда теплые лучи его озаряют печальные и злобные лица арестантов, когда никто не ожидает никаких происшествий, от подвижной толпы гуляющих арестантов отрывается одинокая фигура и бежит, делая гигантские прыжки, в сторону стены.

Он выскользнул на рук схватившего его надзирателя, другого сшиб ударом в грудь и в одно мгновение взобрался на стену. Он пробегает вдоль стены несколько шагов, еще момент, и он будет уже по ту сторону постылой ограды, но трещат сразу несколько беспорядочных выстрелов и грузно падает обратно, глухо ударяясь о землю, мертвое тело беглеца...

Везут с тюремного двора мусор и всякие отбросы. Мерзко пахнущую телегу или бочку у ворот тщательно осматривают.

В истории тюрьмы нередки ведь случаи, когда арестант выезжал, засыпанный сверху толстым слоем мусора и земли или погрузившись в зловонную жижу ассенизационной бочки.

При первой возможности с толпой рабочих, идущих из тюрьмы с работ, уйдет случайно или умышленно подвернувшийся тут арестант; перелетит турманом через стену самый тихий, самый покладистый арестант, как только зазевалась стража или началась суматоха по какому-нибудь случаю.

Говорят, что давно в одной из далеких тюрем был такой случай. Хоронили умершего в больнице арестанта. За-

крыли гроб крышкой и понесли на ближний погост. А в глухом месте, около леса, крышка сразу свалилась, покойник вскочил и, не оглядываясь на убегающих в ужасе людей, скрылся. Потом только спохватились, что убежал известный разбойник, а покойника нашли в бане под нарами.

Всех уловок стремящихся на волю людей не перечислить. Все они остроумны, все безумно отважны и все одинаково безнадежны. В этом, быть может, и кроется их острота, их заманчивость?!

ПРИЛОЖЕНИЯ

МОТИВ НОЧИ

Поздно ночью я разбирал свои бумаги и совершенно случайно наткнулся на пачку старых писем. Я их прочитал все, но лишь одно из них я храню. Вот оно... Без начала... без ясного конца... Как блеск далекой зарницы... как умерший в тумане аккорд, как заглушенное смертью рыдание.

.

«Их всегда ужасно много — и больших, и мелких, еле заметных для глаза, белых, черных, зеленых и бесцветных, почти прозрачных...

Они всегда очень оживлены, взволнованы, видимо, приготавливаются к чему-то, возбужденно летают по моей камере и лишь на мгновение садятся отдохнуть.

Я их вижу каждый вечер, но все новых... постоянно новых... Они все — мои гости, когда зажжена лампа...

Большая, неуклюжая лампа, слишком большая и яркая для моей узкой камеры...

Влетев сквозь толстую железную решетку тюрьмы с широких полей, начинающихся сразу за оградой, они кружатся вокруг лампы и выют над нею.

Я знаю, что они отсюда не уйдут... Настанет утро, потушат лампу, а трупы их будут валяться повсюду, даже на ламповом фитиле... Живые же, совсем искалеченные и слепые, будут неподвижно сидеть в темных углах и, насупившись, будут молча страдать и, страдая, умирать...

Они могли бы в каждый миг вылететь из этой проклятой камеры, где страдает человек, но они не улетают, кружась все быстрее и быстрее вокруг накаляющейся и ярко горящей лампы... и не улетают.

Назавтра их сменят другие.

Я так хорошо это знаю и так привык к повторяющемуся изо дня в день зрелищу пляски смерти...

Сначала я их очень жалел. Я ловил этих мохнатых, толстых бабочек с пушистыми лапками и усиками, напоминающими молодые листья папоротника, осторожно сгребал с резервуара лампы еще шевелящуюся массу мелких

опаленных мошек, полупрозрачных мотыльков, длинноногих комаров и бережно бросал их за окно, во тьму безлунной ночи... Но новые и новые стан их налетали, еще упорнее и ожесточеннее, стремясь к свету, еще быстрее кружась над отверстием стекла, обжигаясь, умирая и уступая место здоровым и таким же безумно-смелым существам.

Выброшенные же... кто мог летать или ползать, тот летел, косо и неуклюже рассекая воздух опаленными и смятыми крыльями, полз по стене тюрьмы со двора и все это неуклонно стремилось опять к лампе, к огню, к неминуемой гибели...

Но я привык и не жалею их теперь...

Они должны погибнуть!..

В нервных, быстрых, как молния, кругах, описываемых вокруг раскаленной лампы слабыми летающими существами, в вихреобразных зигзагах прозрачных, играющих цветами радуги мотыльков было все, что так хорошо, так мучительно знакомо мне: и сильный до безумия порыв, и стремительность, и гордость, и радость борьбы!..

Не раз я видел, как великолепный зеленокрылый бражник чертил плавные круги над лампой, взлетая все выше и выше, туда, где дрожала и прыгала горячая тень пламени...

Когда, усталый, он садился с судорожно трепещущими крыльями, готовый ежеминутно улететь, я видел его ярко горящие, огненные глаза, чувствовал его силу, восторг и стремление долететь до самой яркой точки, где все так светло, где счастье, радость...

Я чувствовал, но не мог догадаться, что считал бражник своим счастьем, чего он добивался от своей краткой, однодневной жизни... но я видел, что его желание было сильно, всемогуще...

Никем не тревожимый, он вдруг устремлялся к самому потолку, купаясь в лучах ярко горящей лампы. Он неизбежно попадал в смерч теплого воздуха, стремящегося от лампы; здесь он замирал, широко расправив причудливо изогнутые крылья и обнаруживая розовые подкрыльники и упругое, кольчатое тело. Потом, внезапно сложив кры-

ля, он, как камень, падал вниз, — весь ожиданье, весь — стремление, весь — трепет предстоящих восторгов!..

Не долетая до лампы, бедный, безумный мотылек, безжалостно обожженный и обезображенный, трепетал от боли и, вскоре объятый пламенным дыханьем огня, умирал на фитиле лампы, чернея там безобразным угольным наросом... Лишь белые волоски и пушок долго носились еще в воздухе по воле неощутимых для меня течений.

Так погибали большие бражники и сумеречники, мелкая же мошка, длинноногие, смешные комары и прозрачные, беспомощные тли гибли незаметно, почти бесследно, унося в таинственный мрак смерти весь смысл, всю радость, всю муку своей минутной жизни...

И так всякий вечер... и целую ночь...

Когда я просыпался, то видел, что на полу, как раз под лампой, все гуще и выше становилась груда больших и малых, красивых и безобразных трупов и шевелящихся еще, изувеченных страдальцев, единственным преступлением которых была ненависть к тьме и неудержимое стремление к яркому свету.

Порой мне казалось, что в круге умирающих и мертвых существ, — там, где был молчаливый ад ощущений смертельного отчаяния и предсмертного равнодушия, что там же иногда мелькала большая, быстрая тень...

Однажды я проследил за нею. Это был отвратительный, огромный, черный паук.

Он выползал из щели пола и добивал умирающих. Он оскорблял своим мерзким прикосновением белые, девственные тельца мохнатых, тяжело дышащих, трепещущих и видящих потухающими глазами идущую к ним смерть.

Я убил паука.

Его сменил другой; другого — третий...

Я перестал истреблять гнусных, трусливых разбойников...

Где умирают существа, стремясь к яркой цели, там живут и множатся убивающие ослабевших, терзающие умирающих, позорящие мертвых.

Смерть одних — счастье для других...

А бабочки выются, кружатся.. Все больше их налетает, прекрасных и жалких, ничтожных... а в щелях сырого пола гнезятся черные, кровожадные науки...

Не жгите внезапного света в темные, безлунные ночи. Лучи его — взмахи косы смерти, идущей среди безумных оргий борьбы, стремлении, в пляске, в хаосе последних содроганий!..

Пусть будет проклят создавший тьму!..

Зажгите вечный свет, могучий, яркий! Пусть не будет ночи, не будет мрака... не будет смерти!..»

.

Так писал мне мой знакомый. Давно... как пожелтела бумага! Давно... Теперь его уж нет. Он умер, увидав внезапно много света, который сжег его, испепелил...

Спи покойно, мертвый! Твой твердый, обуглившийся труп не заманчив для пауков. Они не придут из своих щелей, не добьют тебя, не опозорят...

Черная ночь за окном. И у меня горит яркая лампа, задуть которую может слабый порыв ветра.

Смелые, слабые мотыльки и мошки залетают сюда, а с ними вместе идет оргия могучих, блестящих порывов... и смерть во мраке, пронизанном внезапным, чуждым тьме светом...

А через час прояснится, розовея, небо, и выплывет солнце, давая жизнь и силу.

Померкнет, потускнеет лампа и погаснет...

Настанет праздник истинного света, торжество солнца...

И придут новые борцы...

КОТОРАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ?

Рассказ на конкурс читательской наблюдательности

Илл. В. Сварога



Наш общий друг, Леонид Петрович Касвинцев, не раз служил предметом шуток в те минуты, когда наша компания, бывало, разойдется.

— И чего только ты такой недоуменный? — спрашивали его тогда товарищи, заливаясь смехом. — Словно удивился ты очень и не можешь придти в чувство!

Касвинцев в таких случаях долго смотрел на говорившего своими широко открытыми глазами, с глубоким недоумением глядящими из-под высоко поднятых, удивленных бровей.

— Нет, ничего! — отвечал он. — Это уж у меня от природы.

Но раз, сидя в маленьком, уютном ресторанчике, Леонид Петрович сознался нам, что потешающее нас выражение его лица было вовсе не от природы, а, так сказать, благоприобретенное.

— Расскажи, Леня, расскажи! — хором просила вся компания, и для воодушевления товарища заказала еще бутылку коньяку.

— Ну, ладно! — согласился после некоторого колебания Касвинцев. — Расскажу — только не смейтесь!

И он начал:

— Я был тогда на первом курсе университета и увлекался охотой. Мой знакомый помещик, Мануйлов, пригласил меня ранней весной на глухариный ток в свое имение, недалеко от Петергофа. Посоветовал он мне даже попасть на поезд, выходящий из Петербурга около шести вечера.

— Выезжайте непременно с этим поездом, — говорил мне Мануйлов, — все мои гости с ним поедут. Попадете к ужину, а общество у меня будет очень веселое!

Но на этот поезд мне не удалось попасть. Выехал я из Петербурга около одиннадцати часов вечера и, прибыв на

станцию, нашел лошадей Мануйлова.

— Барин велел вам кланяться, — сказал мне кучер, когда я, уложив в пролетку ружье и дорожный мешок, уселся, — и просили вас ехать прямо в охотничий дом. Все гости уже там, а на заре оттуда охотой пойдут.

У меня сильнее забилося сердце. Заговорил инстинкт пещерного человека.

Через час мы уже подъезжали к охотничьей избушке, стоящей на полянке среди высокого леса.

Здесь меня встретил мой старый знакомый, егерь Соколов, и, пожав мне руку, шепотом сказал:

— Все уж полегли... Идите и сосните, Леонид Петрович! Там на полу сено настлано. Барин сами до зари приедут будить охотников. Шибко выпили за ужином-то все! Вряд ли прок с ихней охоты будет?!

Я радостно улыбнулся, предвидя свои будущие успехи, вошел в темные сени и остановился.

Здесь было двое дверей, и я не знал, куда мне идти. Пошел я наугад налево. Войдя в маленькую комнату, я огляделся.

На полу чернело несколько темных тел. С одного края я нащупал ногой свободное место на сене и решил здесь лечь.

Однако, прежде мне надо было переодеться.

Я подошел к окну, где было светлее, так как луна из-за верхушек леса бросала сюда косые лучи, и разделся. С пола доносился легкий храп и спокойное дыхание спящих, и только изредка я слышал тихое, осторожное шуршание сена, но я не обращал на это внимания и стоял, освещенный луной, белый, как изваяние, вытягивая затекшие в дороге члены. Натерев тело одеколоном, чему меня научил Мануйлов, опытный охотник, я надел мягкую фланелевую рубаху и ночную вышитую сорочку и, подойдя к сему, улегся рядом с какой-то темной, спокойно дышащей фигурой.

Перед охотой я никогда не могу спать, а потому лежал на спине и мечтал о токующих на мохнатых лапах елей глухарях. И вдруг на грудь ко мне упала чья-то рука.

— Нет! дайте мне сначала выпить! Я так не могу! —

почти крикнул Касвинцев и залпом опорожнил одну за другой две большие рюмки коньяку, еще выше подымая брови и в полном недоумении разводя руками.

— Ну! Ну! — торопили мы его.

— Я взял руку, конечно, с тем намерением, чтобы ее снять, и... не снял...

— Почему? — вытягивая шеи, спрашивали мы.

— Потому что рука была женская! — выпалил он и, ударив по столу ладонью, крикнул:

— Упругая, круглая, атласистая рука! Великолепная рука светской женщины! А эти тонкие и длинные пальцы, и мягкая, узкая ладонь!.. Ну, да что тут долго говорить? Вы, конечно, понимаете, что я постарался убедиться в том, что рядом со мной находится женщина. Я не видел ее лица, но все-таки я знал, что это была женщина, молодая и стройная на диво!

Касвинцев встал и в волнении прошелся между столиками.

— Леонид! — кричали мы. — Иди сюда немедленно и рассказывай!

Он подошел, сел и начал быстро-быстро говорить сдавленным, прерывистым голосом:

— А потом произошло непонятное, изумительное! «Я хочу, чтобы вы меня поцеловали!» — раздался чуть слышный шепот моей соседки. — Поцелуйте меня, но только один раз!» Я не заставил уговаривать себя и впился в свежие, упругие губы. И я не отрывался, друзья мои, от них до тех пор, пока не почувствовал, что соседка уже не дышит, и пока не услышал ее стона, тихого, как дуновение ветерка, как неясный шепот ночи. О, что это был за поцелуй! Первый и последний в моей жизни!

Сказав это, Касвинцев поник головой.

— Ох!.. — вырвалось у компании.

— Еще было совсем темно, когда за стеной домика раздался стук колес и послышался веселый голос Мануйлова, — продолжал Леонид Петрович. — Только тогда я встал, быстро оделся и вышел из избы. Лишь только помутнело небо и сделалось тускло-белесым, громкий призывный ро-



жок егеря зазвучал, будя гостей.

Я, одетый уже и с ружьем за плечами, стоял на краю поляны и с бьющимся сердцем и дрожью в ногах ждал появления моей ночной соседки, подарившей меня таким безумно-длительным поцелуем, который до сегодня горит на моих губах и тревожит меня.

Из избы выходили знакомые и незнакомые господа. Наконец, вышла женщина. Она была высока и стройна, но и то, и другое я уже знал. Лица ее я не мог разглядеть, так как стоял далеко от двери, да и предрассветный сумрак полз, как назло, так лениво. Мне не терпелось, и я двинулся к ней, но как раз в это время из сеней одна за другой вышли... еще три дамы. Я остановился, как вкопанный.



— Семен Михайлович, — сказал я наконец, обращаясь к Мануйлову. — Пожалуйста, представьте меня дамам.

Он повел меня и отрекомендовал.

— О, друзья мои! — опять заволновался всегда сдержанный и спокойный Леонид Петрович. — Какая таинственная, стихийная сила заложена в женщине! Сила тайны, стихия обмана! Все четыре дамы смотрели на меня с таким безмятежным спокойствием, что я остолбенел, и ни разу в тот день не был остроумнее приклада моего ружья! Которая из четырех? — рвался в моей душе отчаянный, безумный крик. — Которая?

Начался кошмарный день! Об охоте я, конечно, не думал, а все время следил за дамами, ставшими для меня загадкой. Я старится быть ближе то к одной, то к другой из них, наблюдал за их лицами и движениями и пристально глядел на оживленные, красивые глаза дам, стараясь подметить смущение на их лицах. Но все было тщетно! Брюнетка Лидия Ивановна смотрела на меня тем же женственным, ласкающим взглядом, каким дарила меня блондинка Анна Федоровна, а шатенка Мария Георгиевна улыбалась мне так же приветливо, как и ее сестра, темноглазая Тамара Георгиевна.

Касвинцев задумался на мгновение, а потом продолжал:

— Я метался по лесу, как безумный. Которая из четырех? Которая? — кричали нетерпеливые, страстные голоса в моей душе. Наконец случилось то, что должно было случиться... Засмотревшись на мелькающий на пригорке силуэт Анны Федоровны, я остушился, попал в глубокую яму и вывихнул коленный сустав...

— Та-ак! — произнес маститый беллетрист и вздохнул. — Молодость, молодость!..

— Среди охотников нашелся хирург, быстро и ловко поставивший сустав на место, но колено нестерпимо ныло и быстро опухало. Решено было доставить меня на мызу Мануйлова. В этот миг случилось то, что дало мне надежду решить загадку, но это продолжалось только одно мгновение, а затем мрак тайны еще более сгустился.

— Интересно! Рассказывай, рассказывай! — шепнул кто-то из компании и умолк, так как Касвинцев продолжал:

— К доктору подошла Мария Георгиевна и сказала:
— Нельзя же позволить Леониду Петровичу ехать одному?

— Конечно, нельзя! — подхватили сразу Лидия Ивановна и Анна Федоровна. — Мы поедем с ним и будем поджидать вас на мызе, господа.

— Я именно это и хотела предложить! — подскочила Мария Георгиевна. — Я тоже поеду!

В это время подошла и Тамара Георгиевна. Узнав о несчастном случае со мной, она спросила у хирурга:

— Не останется искривления ноги? Ведь вывихи опасны? Они иногда уродуют человека?

Получив от него отрицательный ответ, она небрежным движением скинула с плеча ружье и, вынимая патроны, произнесла насмешливым тоном:

— Три сиделки! Почему не четыре? Я тоже устала и тоже сочувствую нашему пострадавшему товарищу...

В удобном дормезе мы шагом двинулись в путь. Я все время не спускал глаз с моих милых, очаровательных спутниц, так заботливо ухаживавших за мной, и бесчувственно повторял одну и ту же фразу:

«Я вижу четыре пары молодых, свежих губ. Которые из них сегодняшней ночью подарили меня таким бесконечным, почти жестоким и жадным поцелуем? Кто из четырех?»

На мызе лакей Семена Михайловича раздел меня и уложил на широкий кожаный диван. У меня, несмотря на ледяной компресс, появилась лихорадка и сильная боль в опухшем колене. Лидия Ивановна, Мария Георгиевна и Анна Федоровна не оставляли меня одного ни на минуту. Реже других подходила ко мне Тамара Георгиевна и довольно равнодушно спрашивала:

— Ну как? Все еще болит? Жар есть? Только бы у вас бреда не было! Это признак серьезного заболевания...

Уходила она в соседнюю комнату, где то громко зевала, то по-мальчишески насвистывала какой-то мотив, дразня старого, разжиревшего пойнтиера Джека. Очевидно, я мало интересовал ее, и это меня даже порадовало, так как с той

поры я наблюдал только за тремя дамами.

Оставшись со мной наедине, Лидия Ивановна долго смотрела на меня, потом начала гладить мои волосы и, наклонившись, поцеловала меня в лоб, сказав дрогнувшим голосом:

— Бедный мальчик! Очень больно?!

Я сразу просветлел, так как узнал эти губы! Упругие и горячие, — это их я целовал сегодня ночью!

Но пришла Мария Георгиевна, взяла меня за руку и, медленно перебирая мои пальцы, говорила:

— Как поправитесь, непременно приходите к нам! Я вас с мужем познакомлю...

При этом она загадочно улыбнулась одними только уголками пышных, рдеющих губ.

Я опять начинал волноваться. Эта мягкая, узкая ладонь, с такой нежной кожей и легким, дразнящим прикосновением, слабо отталкивала меня в прекрасный миг того поцелуя!

И тоска вновь заползала в мое смущенное сердце и становилась совсем безотрадной, когда надо мной склонялась и знойно дышала мне в лицо Анна Федоровна, и я начинал терять сознание от дурманящего запаха ее волос, запаха, которым упивался я в ту ночь единственного, но бесконечного, как смерть, поцелуя!

— Ничего! — шептала она. — Ничего! До свадьбы заживет! Мы еще не раз поохотимся вместе...

И она тихо смеялась щекочущим смешком, в котором мне чудились непонятные намеки, неясные призывы и обещания...

Когда мои очаровательные сиделки ушли, откинув одеяло, я нашел маленький клочок бумажки с наскоро набросанными на нем строками:

«Я боялась, что вы узнаете меня. Теперь я вижу, что вы растерялись, и я спокойна. Бедный мальчик! Но все-таки целовать вы умеете! Я предвидела это, когда вы стояли в серебристых лучах луны... там, в сторожке!..»

— Дальше! говори дальше! — кричали мы, тесным кольцом обступая Касвинцева.



— Все!.. — произнес он упавшим голосом. — Я так и не узнал и до сих пор не знаю, кто была она.

И Леонид Петрович обвел нас взглядом такого наивного, детски-растерянного недоумения, что мы покатались с хохоту...

— Ты до сих пор не знаешь ее имени?.. — захлебываясь от смеха, спрашивали мы.

— Мы, мы все тебе назовем ее!

От автора

Я прерываю рассказ и предлагаю читателям назвать таинственную незнакомку Леонида Петровича. При решении необходимо указать, на чем последнее основано. Имена отгадавших одну из четырех и представивших доказательные суждения будут напечатаны в «Синем журнале».

— КОТОРАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ?! — АННА ФЕДОРОВНА!

(К рассказу на конкурс «читательской наблюдательности»)

Я закончил свой рассказ «Которая из четырех» словами товарищей милейшего Леонида Петровича Касвинцева, пожелавших открыть ему имя таинственной и эксцентричной незнакомки, не давшей моему герою спокойно провести ночь в лесной сторожке перед охотой на глухарей.

Оказалось, что большинство, 86% читателей «Синего журнала», указали на ту же особу, которую заподозрили и товарищи рассказчика — на Тамару Георгиевну.

Ее «притворное» равнодушие, ее расспросы о последствиях вывиха, наконец, ее боязнь бреда у больного Касвинцева — все, казалось, сложилось против нее.

И, однако, не Тамара Георгиевна была «автором поцелуя», посвященного юному охотнику!

Теперь и я уверен в этом, так как имею неопровержимые доказательства, подкрепленные, с одной стороны, письмами заинтересованных дам, а с другой — авторитетом такого знатока человеческой души, как знаменитый Шерлок Холмс, приславший мне через своего секретаря и друга доктора Ватсона ответ.

Начну со слов, так сказать, «подсудимых» и, прежде всего, прошу извинения у моих очаровательных корреспонденток за помещение их писем, но делаю это в доказательство обоснованности и правильности ответа на заданные вопросы.

2 Сентября появился № 37 «Синего журнала», а 3 сентября я получил следующие три письма.

I. Письмо Тамары Георгиевны

Я возмущена изложением г. Касвинцевым происшедшего в сторожке в имении Мануйлова случая. По всем при-

знакам целовала его я, Тамара Георгиевна, а между тем, я тут... почти ни при чем. Я только видела... молодого охотника за его... туалетом, а потом, когда он улегся, я услышала раздражающий звук поцелуя. Я не могла уснуть. Заметив наутро недоумение и растерянность Леонида Петровича, я поняла, что он ищет свою ночную соседку и боялась, что в бреду он может случайно назвать мое имя и скомпрометировать меня. Вот почему я поехала вместе со всеми проводить больного, потому же я сидела неотлучно в соседней комнате и старалась производить шум своим громким зеванием, свистом и возней с Джеком. С почтением, Тамара Георгиевна Р.

II. Письмо Лидии Ивановны

М. г., г-н Оссендовский! Я — несчастна. Мой муж был со мной у Семена Михайловича в тот день, когда г. Касвинцев вывихнул себе ногу. Теперь, узнав о том, что одна из четырех целовалась с ним, а все четыре дамы ночевали в сторожке вместе, он просто на стену лезет и перестал даже ревновать меня к кузену Вольдемару. Я не целовала Леонида Петровича! Это, кажется, так ясно! Разве женщина, умеющая так тонко флиртовать, как несомненно умеет делать это Тамара Георгиевна (о! это она его целовала), допустила бы такую непростительную оплошность, как употребление в разговоре и в записке одного и того же слова «Бедный мальчик». Это каждый поймет, и только мой превосходительный идиот не может этого понять. Оправдайте же, г. автор, хоть вы меня! Уважающая Вас читательница Лидия Ивановна.

III. Письмо Марии Георгиевны

Милостивый государь, г. Оссендовский! Пожалуйста,

передайте Леониду Петровичу, что я его тогда ночью не целовала и целовать не могла, — мое место было у самой стены и, таким образом, от него я была отделена остальными дамами. Мой муж приготовлял мне сам постель на душистом сене и может подтвердить сказанное мной. Мария Георгиевна.

Не откликнулась на воспоминания Леонида Петровича одна лишь Анна Федоровна, но тут о ней расскажет доктор Ватсон.

Вот его письмо.

Лондон. IV. Бэкер-стрит. 1 окт. 1911 г.

Милейший автор! Мой друг, небезызвестный Шерлок Холмс, разыскивая «Джиоконду», провел три дня в Петербурге и, ознакомившись с напечатанным в вашем журнале рассказом г. Оссендовского «Которая из четырех», попутно разрешил эту загадку. Вот как это случилось.

— Ватсон! — сказал мне однажды Шерлок, пуская из-за газеты клубы дыма. — Я знаю, которая из четырех! — И тут он изложил мне содержание рассказа.

— Любительница таинственных поцелуев — Анна Федоровна, — продолжал он, — и никто другой.

— Трудно это решить сразу. В рассказе много отвлекающих подробностей, — попробовал возразить я.

— Нет, Ватсон! все ясно, — перебил меня Холмс. — Подумай только, как знойно дышала и как низко наклонялась над Касвинцевым эта дама. Она хотела повторить испытанный поцелуй, хотела упиться им, так как она уже знала, что юноша — мастер своего дела: эта-то убежденность и волновала ее и заставляла «знойно дышать» около Касвинцева. Наклоняясь над больным, только она могла подкинуть записку, она же намекала на желательное повторение проведенной ночи, обещая, что они еще «не раз по-

охотятся вместе». Есть еще одно доказательство, что целовала Касвинцева Анна Федоровна.

— Какое? — спросил я.



Портрет «виновницы конкурса» — Анны Федоровны, доставленный «Синему Журналу»,

— Запах волос, который узнал Касвинцев, — ответил Холмс. — Волосы лежащей около мужчины женщины всегда касаются лица, а воспоминание об их запахе живет до той поры, пока живет воспоминание о самом поцелуе. Вспомните слова Генриха Анжуйского: «Аромат поцелуя — это запах волос женщины»...

— Да... — начал было я.

— У вас всегда недостаток логики, Ватсон, — воскликнул Холмс, — и для вашего недоверия у меня есть одно средство. Документ! Вот он.

И с этими словами Холмс протянул мне портрет с письмом:

«Шерлок Холмс — волшебник. Он угадал. Я целовала тогда Касвинцева, но он, глупый, не отыскал меня! Анна Федоровна».

Портрет этой дамы с подписью пересылаю в ваше распоряжение, г. редактор, вместе с моим приветом.

Ваш доктор Ватсон.

* * *

Правильно назвали Анну Федоровну следующие лица:
1. Л. М. Г а ф т из Харькова. 2. В. А. П о п о в из Одессы.
3. Б е л о с т о ч а н и н . 4. Л и з а из Одессы. 5. А в т о м о -
б и л ь из Петербурга.

Приношу благодарность читателям, принявшим участие в нашей шутке — «конкурсе наблюдательности».

Антон Оссендовский

ПРИМЕЧАНИЯ

Все произведения публикуются по первоизданиям, откуда взяты и иллюстрации. Орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам; безоговорочно исправлены несомненные опечатки. Имена, географические названия и термины, как правило, оставлены без изменений.

В оформлении обложки использован рисунок обложки первого русского издания книги А. Оссендовского *Звери, люди и боги* (Рига: изд. Г. Л. Бирган, 1925).

—

На речке Ныгри

Впервые: *Волны*. 1912. № 7, июль.

Бык

Впервые: *Весь мир*. 1912. № 37.

На прииске

Впервые: *Огонек*. 1912. № 19, 5 (18) мая.

Перед лицом Бога

Впервые: *Новое слово*. 1912. № 12, с ред. пометкой: «Один из 40 рассказов, удостоенных почетного отзыва на 2-м всероссийском литературном конкурсе редакции “Биржевых ведомостей”».

В гиблых местах

Впервые: *Новый журнал для всех*. 1910. № 25, ноябрь.

Тени недавнего

Впервые: *Огонек*. 1910. № 24, 12 (25) июня.

Город мужчин

Впервые: *Аргус*. 1914. № 13, январь. Е. Нимич — псевдоним художника, графика и иллюстратора Е. Д. Белухи (1889-1943).

Барин

Впервые: *Огонек*. 1912. № 6, 4 (17) февраля.

Рулетка смерти

Впервые: *Огонек*. 1914. № 24, 15 (28) июня.

Отклики давней были

Впервые: *Огонек*. 1914. № 27, 6 (19) июля.

Старое вино

Впервые: *Огонек*. 1914. № 1, 5 (18) января.

Урок в Измайловском полку

Впервые: *Огонек*. 1913. № 19, 12 (25) мая.

Человек без биографии

Впервые: *Огонек*. 1914. № 16, 20 апреля (3 мая).

Бархатная маска

Впервые: *Огонек*. 1910. № 50, 11 (24) декабря.

С. 160. ...«Гадание» *Мусоргского* — т. е. ария Марфы в сцене гадания из оперы М. П. Мусоргского (1839-1881) «Хованщина».

Перуново урочище

Впервые: *Пробуждение*. 1915. № 23 (1 декабря), № 24 (15 декабря).

Твердая кровь

Впервые: *Аргус*. 1913. № 9, сентябрь.

Русские путешественники-авантюристы

Впервые: *Аргус*. 1914. № 18, июнь.

Слуша-а-ай!

Впервые: *Аргус*. 1914. № 10, октябрь, под псевд. М. Чертван.

Мотив ночи

Впервые: *Венок: Альманах под ред. Н. Г. Шебуева* [М., 1909].

Которая из четырех?

Впервые: *Синий журнал*. 1911. № 37, 2 сентября и № 41, 30 сентября.

С. 243. ...разыскивая «Джисоконду» — Речь идет о похищении «Монны Лизы» («Джоконды») Леонардо да Винчи, которое осуществил в августе 1911 г. работник Лувра Виченцо Перуджа. Картина была обнаружена в 1913 г. после того, как Перуджа попытался продать ее галерее Уффици.

Исправление к тому II

В т. II в качестве первого издания повести *Женщины, восставшие и побежденные* было указано отдельное книжное издание 1915 г. Однако до этого повесть была напечатана в *Свободном журнале* (1914, №№ 5-6).

Оглавление

Город мужчин

На речке Ныгри: (Рассказ из приисковой жизни)	7
Бык: Рассказ из приисковой жизни	15
На прииске	25
Перед лицом Бога	33
В гиблых местах	60
Тени недавнего	72
Город мужчин	93
Барин	110

Старый Петербург

Рулетка смерти (Из цикла «Старый Петербург»)	126
Отклики давней были (Из цикла «Старый Петербург»)	131
Старое вино	136
Урок в Измайловском полку	140
Человек без биографии	146
Бархатная маска	152
Перуново урочище	167

Очерки

Твердая кровь	191
Русские путешественники-авантюристы	204
Слуша-а-ай!	215

Приложения

Мотив ночи	226
Которая из четырех?	231
Примечания	246

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.